

Читается на одном дыхании... безусловный и удивительный шедевр.

*Sunday Telegraph*

# ХИЛАРИ МАНТЕЛ

Пружина сюжета закручена неумолимо,  
на зависть иным триллерам.  
Хилари Мантел принципиально  
переосмыслила сам жанр исторического  
романа сверху донизу.

*Observer*

# СЕРДЦЕ БУРИ



Большой роман

Хилари Мантел

**Сердце бури**

«Азбука-Аттикус»

1992

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

**Мантел Х.**

Сердце бури / Х. Мантел — «Азбука-Аттикус»,  
1992 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-21247-3

«Сердце бури» — это первый исторический роман прославленной Хилари Мантел, автора знаменитой трилогии о Томасе Кромвелле («Вулфхолл», «Введите обвиняемых», «Зеркало и свет»), две книги которой получили Букеровскую премию. Роман, значительно опередивший свое время и увидевший свет лишь через несколько десятилетий после написания. Впервые в истории английской литературы Французская революция масштабно показана не глазами ее врагов и жертв, а глазами тех, кто ее творил и был впоследствии пожран ими же разбуженным зверем, — пламенных трибунов Максимилиана Робеспьера, Жоржа Жака Дантона и Камиля Демулена... «Я стала писательницей исключительно потому, что упустила шанс стать историком... Я должна была рассказать себе историю Французской революции, однако не с точки зрения ее врагов, а с точки зрения тех, кто ее совершил. Полагаю, эта книга всегда была для меня важнее всего остального... думаю, что никто, кроме меня, так не напишет. Никто не практикует этот метод, это мой идеал исторической достоверности» (Хилари Мантел). Впервые на русском!

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-21247-3

© Мантел Х., 1992  
© Азбука-Аттикус, 1992

## Содержание

От автора	13
Действующие лица	15
Часть 1	20
Глава 1	20
Глава 2	35
Глава 3	48
Часть 2	52
Глава 1	52
Глава 2	63
Глава 3	75
Глава 4	83
Глава 5	94
Глава 6	112
Конец ознакомительного фрагмента.	138

# Хилари Мантел

## Сердце бури

*Посвящается Клэр Бойлан*

Читается на одном дыхании... безусловный и удивительный шедевр.  
*Sunday Telegraph*

Хитроумные повороты, неожиданные сюжетные ходы, высокая драма...  
убедительнейшее выражение ее бесконечно изобретательного стиля, ее  
сверхъестественной способности все подмечать.  
*Times Literary Supplement*

Один из лучших британских романов XX века.  
*The Oldie*

Разумеется, Чарльз Диккенс уже проделал это в «Повести о двух  
городах», но в XX веке никому не удалось написать о Французской революции  
лучше, чем Хилари Мантел.  
*Library Journal*

Хилари Мантел погрузилась в историю... и из бьющей через край  
энергии и цепящего ужаса этих дней возникает удивительная картина.  
*Daily Telegraph*

Это лучший исторический роман со времен «Воспоминаний Адриана»  
Маргерит Юрсенар, вышедших сорок лет назад.  
*Evening Standard*

Великолепно... Это было лучшее из всех времен, это было худшее из  
всех времен. И Хилари Мантел превосходно его запечатлела.  
*Time Out*

Увлекательно... Она сумела заставить этих молодых революционеров –  
и вместе с ними саму революцию – ожить и задышать.  
*Independent*

Удивительный, головокружительный роман... невероятно  
обстоятельный и вместе с тем динамичный... она поставила перед собой цель  
выразить волнение и интеллектуальный пыл эпохи. И справилась блестяще...  
это просто подвиг.  
*Scotsman*

Захватывающе... невозможно противостоять страстному пылу  
рассказчицы. Стиль Мантел столь точен и блестящ, что сам по себе становится  
актом выживания, даже искупления.  
*New Yorker*

Это гораздо больше, чем исторический роман. Захватывающее исследование власти и цены, которую за нее приходится платить... подлинный триумф.

*Cosmopolitan*

Первосортный исторический блокбастер.

*Red Magazine*

Хилари Мантел удалось почти невозможное... грандиозный, захватывающий эпос.

*Vogue*

Когда же все наконец поймут, что Мантел – один из лучших британских писателей?

*Зэди Смит (автор романов «Белые зубы», «О красоте», «Время свинга»)*

Блестящая, оригинальная историческая проза, которая с решительностью и прямотой воспроизводит стремительный поток, именуемый Великой французской революцией.

*The Seattle Times*

Эпос исключительной глубины и проработанности... он выходит за рамки увлекательного повествования, становясь шедевром литературы.

*Booklist*

Мантел обладает подлинным историческим чутьем... Ее проза изысканна, иронична, и в то же время от нее нельзя оторваться.

*Newsday*

Пружина сюжета закручена неумолимо, на зависть иным триллерам. Хилари Мантел принципиально переосмыслила сам жанр исторического романа сверху донизу.

*Observer*

Редкие авторы не просто закапываются в окаменевшие напластования прошлого, но поднимают свою добычу к свету, чтобы снова блестела нам на радость. Хилари Мантел – из их числа.

*Саймон Шама, автор «Силы искусства» и «Глаз Рембрандта» (Financial Times)*

Хилари Мантел – наш Микеланджело от литературы.

*Oprah Magazine*

Прошлое под пером Мантел буквально оживает...

*Vox*

Противоречия и шероховатость – вот что придает ценность исторической прозе. Найти форму, а не навязать форму. И позволить читателю жить с неоднозначностью.

*Хилари Мантел*

Хилари Мантел – писательница, умеющая видеть сквозь кровь. Силой своей прозы она рисует моральную неоднозначность и реальную неопределенность политической жизни.

*Сэр Питер Стотард, председатель жюри Букеровской премии*

Удивительно, как Мантел воспроизводит язык и быт прошлого. Она перерывает исторические материалы и выкапывает мельчайшие, самые выразительные детали, воссоздающие прошлое как въявь.

*Росс Кинг (Los Angeles Times)*

Гений Мантел в том, что она пересказывает хорошо известную историю, залезая людям в голову, отыскивая тайные уголки мыслей, видя то, чего не видят другие. Я немного смущаюсь писать слово «гений», но...

*Daily Mail*

Мантел совершает переворот в литературе.

*Times Literary Supplement*

Романы Мантел ничем не уступают «Крестному отцу»: те же эпичность, драматизм и напряжение.

*Scotsman*

Проза Мантел великолепна... фактурная и в то же время простая, наполненная жизненной энергией.

*Canberra Times*

Мантел знает, что выбрать, как сделать сцену живой, как вылепить персонажей. Она как будто не умеет отрешиться или обмануть... она инстинктивно хватается за реальность. Короче говоря, это писатель, наделенный тем, чему нельзя научить, – даром писать увлекательно.

*The New Yorker*

Мантел решительно сметает с истории паутину, снимает потемневший глянец архаичных фраз и маскарадной сентиментальности исторических романов, так что прошлое предстает нам живым, свежим и непривычным.

*The New York Times Book Review*

Ее персонажи – реальные и живые люди, носители противоборствующих идей своего времени. Мантел делает прошлое живым и насущным.

*The Economist*

Остроумием, смелостью и поразительной широтой исторического знания Мантел вдохнула новую жизнь в избранную ею область.

*Bookslut*

Мантел – изумительный писатель, тонкий стилист, соединяющий абсолютную точность с захватывающей глубиной погружения, и одновременно тонкий наблюдатель человеческой природы.

*New Statesman: Books of the Year*

Есть историческая правда, а есть правда творческая. Мантел... читит и ту и другую.

*Spectator*

Хилари Мантел не только безгранично талантлива, но и безгранично смела.

*Observer*

Не зря говорят, что Мантел наполнила само понятие исторического романа совершенно новым смыслом. В прозе Мантел есть безусловная уверенность Мюриэл Спарк, и у читателя не возникает вопросов, откуда она столько знает про те времена, как не возникает сомнений и в ее оценке событий.

*Evening Standard*

Согласны мы с тем, как госпожа Мантел трактует историю, или нет, ее персонажи обладают собственной жизненной силой, шекспировской мощью.

*The Economist*

Мантел интересуют вопросы добра и зла в применении к людям, наделенным огромной властью. Отсюда ненависть, ликование, сделки, шпионы, казни... Она всегда стремится к цвету, богатству, музыке. Она внимательно читала Шекспира, но слышны и отзвуки молодого Джеймса Джойса.

*The New Yorker*

Мантел не просто приближает прошлое, а одним махом переносит нас туда своей искусной и мрачной прозой. Мы – путешественники во времени, очутившиеся в чужом мире... Интриги и переживания далекой эпохи превращают книгу в долгое изысканное удовольствие.

*The Boston Globe*

Шедевр исторической литературы...

*Bloomberg News*

Любители исторической прозы – и великой литературы – должны визжать от восторга.

*USA Today*

Это тугой клубок интриг, а исторические фигуры кажутся как никогда живыми и человечными!

*Miami Herald*

Мантел не предлагает никаких постмодернистских ребусов «переведи то время в наше», как это было, например, в «Имени Розы» Умберто Эко. И точно так же нет в ее книгах политической назидательности, ради которой пишут такие тексты многие современные романисты (из соотечественников, например, Дмитрий Быков и Леонид Юзефович), у которых прошлое – всего лишь метафора нашего времени, а знаменитые «мертвецы» оказываются всего лишь удобными трансляторами авторских мыслей о современном. Мантел же совсем не интересуется совпадением теперешней картинки с трафаретом прошлого. Вообще, если ее что-нибудь интересует, помимо собственно

фигуры ее главного героя, – то это то, что называется «судом истории», и его справедливость.

*Анна Наринская («Коммерсантъ»)*

Страстный и замысловатый роман, который смешивает достоверный факт с убедительно вымышленными подробностями. Он повествует о трех ключевых фигурах Французской революции – памфлетисте Камиле Демулене, трибуне Жорж-Жак Дантоне и народном вожде Максимилиане Робеспьере – от рождения до смерти.

Хотя тематика и немалый объем предполагают создание полновесного эпоса, манера и интонация «Сердца бури» не имеют ничего общего с привычными клише исторической романистики. Вместо этого Мантел использует «пуантилистский» подход, накапливая яркие, резкие, обрывочные мгновения, из которых создается мерцающий, призрачный мираж, окружающий читателя.

Сведя вступление к минимуму, автор позволяет персонажам раскрыться в основном за счет того, что они говорят друг другу (или друг о друге). Суждения героев – развязные, утопические или цинично просчитанные – скрещиваются на книжной странице, а строгая и бесстрастная прямота их слов придает мощи и основательности этой истории о Революции, Которая Свернула Не Туда.

*The Washington Post Book World*

Я стала писательницей исключительно потому, что упустила шанс стать историком. Так сказать, за неимением лучшего. Я должна была рассказать себе историю Французской революции, однако не с точки зрения ее врагов, а с точки зрения тех, кто ее совершил.

Я прочла все исторические книги, которые сумела достать, но они меня не удовлетворили. Все они повествовали о страданиях аристократии. Я считала, что их авторы упустили из виду гораздо более интересную группу – революционеров-идеалистов, чьи истории поражают воображение. Никто не писал о них романов. И я задумала написать такой роман – по крайней мере, про некоторых из них, – чтобы наконец его прочесть. Так все и вышло – долгое время я оставалась его единственным читателем. Роман задумывался как своего рода документальная проза, основанная исключительно на исторических фактах. Впрочем, спустя всего-то несколько месяцев достоверные сведения о некоем эпизоде истоцились, и мне пришлось целый день их придумывать. В конце концов мне даже понравилось. Мое непонимание того, что придется выдумывать, выглядит наивным, но я свято верила, что все факты непременно можно найти, и если я не сумела, винить некого, кроме себя.

Я начала писать этот роман в двадцать два, через год после окончания университета. Это был семьдесят четвертый. Я писала по вечерам и выходным. К счастью, на первом этапе я больше времени, чем впоследствии, уделяла архивной работе, ибо весной семьдесят седьмого мы перебрались в Ботсвану, где, как вы понимаете, в этом смысле пожить было нечем. Перед отъездом я несколько недель напряженно штудировала источники, сказав себе: запасайся, чем можешь, другой возможности не представится.

Это была странная жизнь. Частично я обитала в Ботсване, частично – в тысяча семьсот девяностых годах. Я буквально жила моей книгой о

Французской революции. В декабре семьдесят девятого я дописала «Сердце бури», но мне некуда было его пристроить. У меня была предварительная договоренность с издателем, который вроде бы заинтересовался книгой, и первым делом я пошла к нему. Там роман отвергли. Никого в те времена не волновала историческая проза. А если судить по сдержанным ответам литературных агентов, я поняла, что и читать его никто из них не собирался.

И тогда я придумала коварный план. Напишу-ка я другой роман, решила я. Современный роман. Это был вызов – отступить я не собиралась. Я обзавелась агентом, нашла издателя, затем написала продолжение. Сочинять два романа в мой первоначальный план не входило – я просто хотела застолбить место. Давайте начистоту. Написать современный роман – это был всего лишь способ найти издателя. Моя душа лежит к исторической прозе, и так было всегда. Когда я начинала писать книгу о Французской революции, мне казалось, что интереснее этого события в мировой истории ничего нет, и с тех пор для меня мало что изменилось. Я не представляла, как мало английский читатель знает о Французской революции, а еще меньше хочет знать.

В конце концов роман был опубликован благодаря одной газетной статье. Это случилось в девяносто втором году. У меня к тому времени вышло четыре книги. Я стала успешным критиком. Разбогатеть не получилось, но кое-чего достигла. А еще у меня в столе пылилась эта чудовищная стопка. Я не заглядывала в нее много лет. Что, если, думала я, книга нехороша? Коли так, значит я впустую убила на нее свою молодость. Выходит, моя писательская карьера началась с чудовищной ошибки. И все же внутри жила надежда, что когда-нибудь моя книга увидит свет. И вот однажды мне позвонила ирландская писательница Клэр Бойлан, которая собиралась писать для «Гардиан» статью о неопубликованных первых романах. Есть ли мне что сказать по этому поводу? Я могла бы соврать, но тут словно черт толкнул меня под руку. Конечно есть! Выяснилось, что она обзвонила нескольких писателей, которые ответили, что первый роман сочинили лет в восемь и он до сих пор валяется в обувной коробке. И только я захотела увидеть свой первый роман напечатанным.

Я закончила писать «Сердце бури», когда мне исполнилось двадцать семь, теперь мне было сорок. За эти годы историческая наука продвинулась далеко вперед. Отгремел двухсотлетний юбилей революции, случилась революция феминистская. Перечитав роман, я увидела, что женщины в нем исполняют роль мебели. Мне не хватало материала. Сейчас вы могли бы сказать – так придумала бы что-нибудь. Когда-то я не видела в этом нужды – не считала, что женщины важны. Моя собственная жизнь скорее напоминала жизнь мужчины восемнадцатого века, а никак не тогдашней женщины. Теперь я поняла, что следует проработать этот вопрос глубже.

Я переписала роман за одно лето. Дальнейшая же подготовка к изданию обернулась кошмаром. В основном книга была написана в настоящем времени. Кто-то в издательстве счел это неудачным и переправил на прошедшее время, я вернула как было – и так далее, корректуру за корректурой. Так что, заглянув сейчас в «Сердце бури», вы обнаружите, что в одном абзаце встречаются и настоящее, и прошедшее время. Надеюсь, когда-нибудь у меня дойдут руки это исправить.

Полагаю, эта книга всегда была для меня важнее всего остального. Я была собой, когда ее писала. К добру или к худу, думаю, что никто, кроме меня, так не напишет. Никто не практикует этот метод, это мой идеал исторической

достоверности. Независимо от того, получается ли и стоит ли оно того, – я пишу так, а не иначе.

*Хилари Мантел*

## От автора

Эта книга о Французской революции. Почти все персонажи в ней невымышленные, а исторические факты подлинны, по крайней мере, насколько их считают таковыми историки, между которыми нет согласия. Эта книга не беглый обзор и не подробное описание революции. Действие происходит в Париже, события в провинции остались за кадром, равно как и события, происходившие на полях сражений.

Мои главные герои пребывали в неизвестности, пока революция не сделала их знаменитыми, поэтому никому доподлинно не известно, какими были их детство и юность. Я использовала имеющиеся сведения, остальное – мои предположения, подкрепленные изучением источников.

Эта книга – не беспристрастный отчет. Я пыталась смотреть на мир глазами моих героев с их взглядами и предубеждениями. Там, где возможно, вплетала в сочиненные диалоги их подлинные слова, заимствуя из записанных речей и сохранившихся трудов. Мною двигало убеждение, что зачастую записанные речи суть не что иное, как выжимки из сказанного ранее не для записи.

В книге есть персонаж, который способен читателя ошарашить, и ему отведена не главная, но запоминающаяся роль. Все знают Жан-Поля Марата, того самого Марата, которого заколола в ванне красивая девушка. И если обстоятельства его смерти не вызывают сомнений, то почти все остальные события его жизни открыты для толкований. Доктор Марат на двадцать лет старше моих главных героев, и его карьера до революции была весьма занятой и довольно продолжительной. Я чувствовала, его история может нарушить равновесие, поэтому сделала Марата приглашенной звездой, чьи появления редки, но впечатляющи. Надеюсь в будущем вернуться к доктору Марату. Любой другой роман на тему Французской революции неизбежно разойдется с тем взглядом на историю, который излагаю я. Пока я писала эту книгу, я много спорила сама с собой о том, что есть история. Однако, прежде чем оспаривать свои доводы, следует внятно их изложить.

События в романе сложны и запутаны, поэтому желание их оживить и необходимость разъяснить неизбежно вступали в противоречие. Автор, пишущий такого рода роман, чувствителен к жалобам ревнителей точности. Предлагаю три примера, которые покажут, как я пыталась упростить себе жизнь, одновременно избегая фальсификаций.

Описывая предреволюционный Париж, я упоминаю «полицию». Это упрощение. На самом деле в те времена существовало несколько вооруженных подразделений, обеспечивающих правопорядок. Однако утомительно было бы прерывать повествование всякий раз, когда по сюжету происходят волнения, и сообщать, какие именно силы их подавляли.

Далее, почему я именую Отель-де-Виль «мэрией». В Британии, когда речь заходит о «ратуше», рисуется следующая картина: олдермены, поглаживая животы, рассуждают об украшении города к Рождеству или мусорных бачках. Мне хотелось передать идею местного самоуправления в ее живом, американском понимании – места, где сосредоточена реальная власть.

Еще более мелкий пример: мои герои обедают и ужинают в разное время. Парижское светское общество обедало между тремя и пятью пополудни, а ужинало между десятью и одиннадцатью. Однако, если более поздний прием пищи носил оттенок формальности, я именовала его «обедом». В целом персонажи книги скорее полуночники; если они делают что-то в три часа – как правило, это три утра.

Я совершенно уверена, что роман есть плод коллективных усилий, плод совместного труда писателя и читателя. Я предлагаю собственную версию событий, но факты меняются в зависимости от вашего мировоззрения. Разумеется, мои герои были лишены преимущества взглянуть на свою жизнь ретроспективно, они просто жили день за днем, жили, как умели. Я

не убеждаю читателя рассматривать события под определенным углом или извлекать из них уроки. Я хотела написать роман, который даст простор для собственных суждений и симпатий – книгу, которую читатель мог бы обдумывать и проживать изнутри. Он может спросить, как же отличить правду от вымысла? В общих чертах дело обстоит так: то, что кажется наименее вероятным, и есть истина.

## Действующие лица

### Часть 1

#### *В Гизе:*

Жан-Николя Демулен, адвокат

Мадлен, его жена

Камиль, их старший сын (родился в 1760 г.)

Элизабет, их дочь

Генриетта, их дочь (умерла в возрасте девяти лет)

Арман, их сын

Анна-Клотильда, их дочь

Клеман, его младший сын

Адриан де Вьефвиль, Жан-Луи де Вьефвиль – их надменные родственники

Принц де Конде, самый знатный из местных дворян, клиент Жан-Николя Демулена

#### *В Арси-сюр-Об:*

Мари-Мадлен Дантон, вдова, вышедшая замуж за изобретателя Жана Рекордена

Жорж-Жак, ее сын (родился в 1759 г.)

Анна-Мадлен, ее дочь

Пьеретта, ее дочь

Мари-Сесиль, ее дочь, ставшая монахиней

#### *В Аррасе:*

Франсуа де Робеспьер, адвокат

Максимилиан, его сын (родился в 1758 г.)

Шарлотта, его дочь

Генриетта, его дочь (умерла девятнадцати лет от роду)

Огюстен, его младший сын

Жаклин, его жена, урожденная Карро, умершая после рождения пятого ребенка

Дед Карро, пивовар

Тетя Элали, Тетя Генриетта – сестры Франсуа де Робеспьера

#### *В Париже, в лицее Людовика Великого:*

Отец Пуаньяр, директор, известный своими либеральными взглядами

Отец Пруайяр, заместитель директора, известный своими отнюдь не либеральными взглядами

Аббат Эрриво, преподаватель классических языков

Луи Сюло, студент

Станислас Фрерон, студент из хорошей семьи, известный под прозвищем Кролик

#### *В Труа:*

Фабр д'Эглантин, безработный гений

## Часть 2

### *В Париже:*

Мэтр Вино, адвокат, в конторе которого учился Жорж-Жак Дантон  
Мэтр Перрен, адвокат, в конторе которого учился Камиль Демулен  
Жан-Мари Эро де Сешель, молодой дворянин и судейский чиновник  
Франсуа-Жером Шарпантье, хозяин кафе и служащий податного ведомства  
Анжелика, его итальянская жена  
Габриэль, их дочь  
Франсуаза-Жюли Дюоттуар, любовница Жорж-Жака Дантона

### *На улице Конде:*

Клод Дюплесси, высокопоставленный чиновник  
Аннетта, его жена  
Адель, Люсиль – их дочери  
Аббат Лодревиль, духовник Аннетты, сводник

### *В Гизе:*

Роз-Флер Годар, невеста Камиля Демулена

### *В Аррасе:*

Жозеф Фуше, учитель, поклонник Шарлотты де Робеспьер  
Лазар Карно, военный инженер, друг Максимилиана де Робеспьера  
Анаис Дезорти, хорошенькая девица, родственники которой хотят выдать ее замуж за  
Максимилиана де Робеспьера  
Луиза де Кералио, романистка, переехавшая в Париж, вышедшая замуж за Франсуа  
Робера и издающая газету  
Эрманн, адвокат, друг Максимилиана де Робеспьера

### *Орлеанисты:*

Филипп, герцог Орлеанский, кузен короля Людовика XVI  
Фелисите де Жанлис, писательница, бывшая любовница герцога, ныне гувернантка его  
детей  
Шарль-Алексис Брюлар де Силлери, граф де Жанлис – муж Фелисите, бывший морской  
офицер, игрок  
Пьер Шодерло де Лакло, романист, секретарь герцога  
Агнес де Бюффон, любовница герцога  
Грейс Эллиот, любовница герцога, английская шпионка  
Аксель фон Ферзен, любовник королевы

### *В конторе Дантона:*

Жюль Паре, его секретарь  
Франсуа Дефорж, его секретарь  
Бийо-Варенн, приходящий секретарь, человек желчного нрава

### *В Кур-дю-Коммерс:*

Мадам Жели, соседка сверху Жорж-Жака и Габриэль Дантон  
Антуан, ее муж

Луиза, ее дочь  
Катрин, Мари – служанки Дантона  
Лежандр, мясник, сосед Дантонов  
Франсуа Робер, преподаватель права; он женился на Луизе де Кералио, открыл бакалейную лавку, впоследствии стал радикальным журналистом  
Рене Эбер, кассир в театральной кассе  
Анна Теруань, певица

*В Национальном собрании:*

Антуан Барнав, радикал, впоследствии роялист  
Жером Петсион, радикал, впоследствии прозванный бриссотинцем  
Доктор Гильотен, специалист в области медицины  
Жан-Сильвен Байи, астроном, впоследствии мэр Парижа  
Оноре Габриэль Рикетти, граф де Мирабо, аристократ-рenegат, депутат Генеральных штатов от простолюдинов, или «третьего сословия»  
Тейтш, слуга Мирабо  
Клавьер, Дюмон, Дюровере – его «рабы», женеvские политики в изгнании  
Жан-Пьер Бриссо, журналист  
Моморо, издатель  
Ревейон, владелец фабрики обоев  
Анрио, владелец фабрики по производству селитры  
Де Лоне, комендант Бастилии

### Часть 3

Мсье Суле, временный комендант Бастилии  
Маркиз де Лафайет, командующий Национальной гвардией  
Жан-Поль Марат, журналист, издатель газеты «Друг народа»  
Артур Дийон, губернатор Тобаго и генерал французской армии, друг Камиля Демулена  
Луи-Себастьян Мерсье, знаменитый литератор  
Колло д'Эрбуа, драматург  
Отец Пансемон, суровый священник  
Отец Берардье, доверчивый священник  
Каролина Реми, актриса  
Пер Дюшен, печник, вымышленное alter ego Рене Эбера, бывшего кассира театральной кассы, впоследствии ставшего журналистом  
Антуан Сен-Жюст, оппозиционный поэт, знакомый или родственник Камиля Демулена  
Жан-Мари Ролан, пожилой чиновник в отставке  
Манон Ролан, его молодая жена, писательница  
Франсуа-Леонар Бюзо, депутат, член «Якобинского клуба», друг семьи Ролан  
Жан-Батист Луве, романист, якобинец, друг семьи Ролан

### Часть 4

Шарль Дюмурье, генерал, одно время занимавший пост министра иностранных дел  
Антуан Фукье-Тенвиль, адвокат, кузен Камиля Демулена  
Жанетта, экономка Демулена

*На улице Сент-Оноре:*

Морис Дюпле, хозяин плотницкой мастерской  
Франсуаза, его жена  
Элеонора, их старшая дочь, изучает живопись  
Виктуар, их дочь  
Элизабет (Бабетта), их младшая дочь

## Часть 5

*Политики, называемые бриссотинцами или жирондистами:*

Жан-Пьер Бриссо, журналист  
Жан-Мари и Манон Ролан  
Пьер Верньо, член Национального конвента, знаменитый оратор  
Жером Петион  
Франсуа-Леонар Бюзо  
Жан-Батист Луве  
Шарль Барбару, адвокат из Марселя  
и множество других

Альбертина Марат, сестра Марата  
Симона Эврар, гражданская жена Марата  
Дефермон, депутат, бывший председателем Национального конвента  
Жан-Франсуа Лакруа, умеренный депутат: сопровождал Дантона в Бельгию в 1792 и

1793 гг.

Давид, художник  
Шарлотта Корде, убийца  
Клод Дюпен, молодой чиновник, который сватался к Луизе Жели, соседке семьи Данто-

нов

Субербель, врач Робеспьера  
Реноден, скрипичный мастер, склонный к насилию  
Отец Кераванан, беглый священник  
Шово-Лагард, адвокат, защитник Марии-Антуанетты  
Филипп Леба, депутат левого крыла, впоследствии член Комитета общей безопасности, или Полицейского комитета, женат на Бабетте Дюпле  
Вадье, известный как «инквизитор», член Полицейского комитета

*Замешанные в мошенничестве с Ост-Индской компанией:*

Шабо, депутат, бывший капуцинский монах  
Жюльен, депутат, некогда протестантский пастор  
Проли, секретарь Эро де Сешеля и, по слухам, австрийский шпион  
Эммануэль Добрушка и Зигмунд Готлиб, известные как Эммануэль и Юний Фрей, спе-

кулянты

Гусман, второстепенный политик испанского происхождения  
Дидерихсен, датский «коммерсант»  
Аббат д'Эспаньяк, нечистый на руку армейский поставщик  
Базир, Делоне – депутаты  
Гражданин де Сад, писатель, бывший маркиз  
Пьер Филиппо, депутат, написал памфлет против правительства во времена Террора

*Некоторые члены Комитета общественного спасения:*

Сент-Андре

Барер

Кутон, паралитик, друг Робеспьера

Робер Ленде, адвокат из Нормандии, друг Дантона

Этьен Панис, депутат левого крыла, друг Дантона

*На суде над дантонистами:*

Эрманн (см. с. 19, «В Аррасе»), председатель Революционного трибунала

Дюма, его заместитель

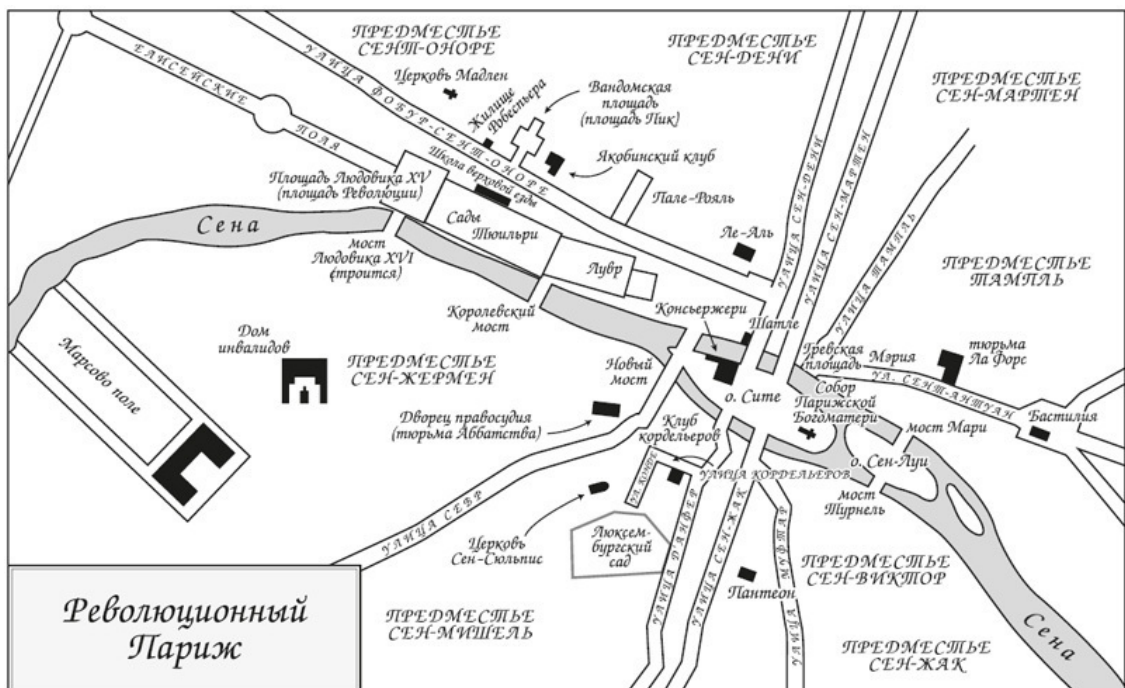
Фулье-Тенвиль, ныне государственный обвинитель

Флерио, Лендон – адвокаты со стороны обвинения

Фабриций Парис, судебный секретарь

Лафлотт, тюремный осведомитель

Анри Сансон, палач



## Часть 1

*Людовика XV называют Возлюбленным. Проходит десять лет. И те же люди верят, что Возлюбленный принимает ванны из человеческой крови... Избегая Парижа, запершись в Версале, король находит, что даже там слишком много людей и дневного света. Он мечтает об укромном уголке...*

*В голодный год (теперь они случаются часто) король, как обычно, охотился в Сенарском лесу. Встретив крестьянина, который нес гроб, он спросил: «Куда несешь?» – «Туда». – «Мужчину или женщину?» – «Мужчину». – «Отчего он умер?» – «От голода».*

*Жюль Мишле*

### Глава 1

#### Жизнь как поле боя

(1763–1774)

Теперь, когда пыль улеглась, можно оценить положение вещей. Теперь, когда последняя красная черепица уложена на крышу нового дома и брачному договору четыре года. Город пахнет летом, запах не слишком приятный, но такой же, как в прошлом году, и каким будет во все последующие. Новый дом пахнет смолой и восковой мастикой, а еще серной вонью назревающей семейной ссоры.

Кабинет мэтра Демулена через двор, в старом доме, который выходит на улицу. Если, стоя на Плас-д'Арм, поднять глаза на узкий белый фасад, вы увидите, как хозяин украдкой замирает перед ставнями первого этажа. Кажется, будто мэтр Демулен смотрит на улицу, но на самом деле он далеко отсюда, скажут наблюдатели. Да, это так. Мысленно он в Париже.

Во плоти мэтр Демулен поднимается по лестнице. Его трехгодовалый сын следует за отцом. Мэтр Демулен подозревает, что следующие двадцать лет сын так и будет болтаться под ногами, но что толку сетовать. Полуденная жара висит над улицами. Младенцы Генриетта и Элизабет спят в колыбельках. Мадлен с такой злостью и в таких выражениях ругается на прачку, что никто не угадал бы в ней хорошо воспитанную женщину в деликатном положении. Он закрывает за собой дверь.

Когда мэтр Демулен оказывается за письменным столом, в голове проносятся рассеянные парижские мысли. Такое случается часто. Он потворствует этим мыслям, воображая себя на ступенях суда Шатле с оправдательным приговором, ради которого пришлось попотеть. Коллеги поздравляют его. Он дает им имена и лица. Где сейчас Перрен? Где Вино? Он бывает в столице дважды в год, и Вино, студентом любивший обсудить с ним свой *жизненный план*, на площади Дофина прошел мимо него, словно мимо пустого места.

Это случилось в прошлом году, а сейчас август 1763-го от Рождества Христова. Город Гиз в Пикардии. Демулену тридцать три, он муж, отец, адвокат, член городского совета, генерал-лейтенант бальяжа, домовладелец с неподъемным счетом за новую черепицу.

Он достает конторские книги. Только два месяца назад родные Мадлен отдали ему последнюю часть приданого. Сделали вид – понимая, что едва ли он осмелится их разуверять, – будто это досадная оплошность, впрочем довольно лестная, мол, что для человека его положения, преуспевающего адвоката, какие-то несколько сотен?

Обычная уловка де Вьефвилей, и с этим ничего не поделаешь. Они приколотили его к семейной мачте, пока он, дрожа от смущения, подавал им гвозди. Он прибыл из Парижа по их

велению, чтобы жениться на Мадлен. Ему было невдомек, что она успеет разменять четвертый десяток, прежде чем его кандидатуру сочтут достойной.

Что де Вьэфвили умеют, так это раздавать указания. Заправляют мелкими городишками и крупными адвокатскими практиками. У них кузены по всему Лану, по всей Пикардии: сборище самонадеянных болтливых мошенников. Один из Вьэфвилей мэр Гиза, другой – член высокого юридического органа, именуемого Парижским парламентом. Де Вьэфвили берут в жены девиц из семейства Годар, а Мадлен – Годар по отцовской линии. Годары лишены заветной фамильной приставки, тем не менее они преуспевают. На музыкальных вечерах в Гизе и окрестностях, а равно на похоронах и обедах, которые дает коллегия адвокатов, обязательно будет кто-нибудь из Годаров, перед кем ты можешь преклонить колени.

Женщины в семье верят, что их святая обязанность – приносить ежегодный приплод, и, несмотря на позднее начало, Мадлен от них не отстает. Отсюда и новый дом.

Ребенок, который пересек комнату и влез на подоконник, их первенец. Первая мысль мэтра Демулена, когда ему показали младенца: это не мой. Все объяснилось на крещении, когда ухмыляющиеся дядя и скрюченные тетки без конца восклицали: а кто тут у нас, неужто новый Годар? разве он не вылитый Годар? Три желания, уныло размышлял Жан-Николя: возглавить городской совет, жениться на кузине и разбогатеть, чтобы кататься как сыр в масле.

У ребенка была целая россыпь имен – крестные никак не могли договориться. Жан-Николя высказал свое предпочтение, но семья была единодушна: можете называть его Люсьеном, для нас он Камиль.

Демулему казалось, что с рождением первенца его словно затянуло в чавкающую трясиину, откуда нет спасения. Он не бежал от ответственности, просто внезапно ощутил груз земных забот и с ужасом осознал, что отныне любое разумное действие обречено на провал. Ребенок представлял собой неразрешимую проблему. Он не поддавался толкованию с точки зрения права. Жан-Николя улыбался ему, сын учился улыбаться в ответ, но не добродушной беззубой младенческой гримасой – в его улыбке читалась ирония. К тому же, в отличие от других младенцев с их расфокусированным взглядом, сын – несомненно, все это отцу только чудилось – взирал на него с прохладцей. Это выводило Жана-Николя из себя. В глубине души он боялся дня, когда младенец сядет и заговорит. Он поймает отцовский взгляд, прищурится и промолвит: «Ну ты и болван».

Сейчас, стоя на подоконнике, сын комментирует все, что происходит на площади: кто вышел, кто вошел. Вот кюре, вот мсье Сольс, а вот крыса. А это собака мсье Сольса. Ой, бедная крыса.

– Камиль, – обращается он к сыну, – отойди от окна. Если ты вывалишься на мостовую и вышибешь себе мозги, ты никогда не возглавишь городской совет. Хотя почему нет, никто и не заметит.

Пока он подбивает счета, сын высовывается в окно еще дальше, силясь разглядеть подробности кровавой драмы. Кюре пересекает площадь в обратном направлении, собака дремлет на солнце. Подходит мальчик с ошейником и цепью, уводит собаку домой. Наконец Жан-Николя поднимает глаза.

– После того как я заплачу за крышу, – говорит он, – я пойду по миру. Ты меня слушаешь? Пока твои дядюшки предоставляют твоему отцу довольствоваться объедками со своего стола, подгребая всю практику под себя, мне, чтобы свести концы с концами, приходится влезать в приданое твоей матери, которое должно пойти на твое образование. С девочками проще, будут рукодельничать или кто-нибудь женится на них за красоту. Едва ли этот вариант подходит тебе.

– Снова пришла собака, – сообщает сын.

– Разве я не велел тебе убраться подальше от окна? Хватит ребячиться.

– Почему нет? – возражает Камиль. – Ведь я ребенок.

Отец пересекает комнату и поднимает сына, отдирая его пальцы от оконной рамы. Глаза Камиля расширяются от изумления, когда его поднимает в воздух непреодолимая сила. Все изумляет его: обличительные речи отца, крапинки на яичной скорлупе, женские шляпки, утки в пруду.

Жан-Николя переносит сына через комнату. В тридцать, думает он, ты будешь сидеть за этим столом, деля время между гроссбухами и местной практикой; будешь в десятый раз составлять черновик закладной на особняк в поместье Вьеж. Это навсегда сотрет ироничное выражение с твоего лица. А в сорок, когда ты поседеешь и будешь сходить с ума от тревоги за старшего сына, мне исполнится семьдесят. Сяду на припеке и буду смотреть, как зреют груши на стене, а мсье Сольс и кюре, проходя мимо меня, будут приподнимать шляпу.

Что мы думаем об отцах? Признаем ли их важность? Вот что говорит по этому поводу Руссо:

Самое древнее из всех обществ и единственное естественное – это семья. Но ведь и в семье дети связаны с отцом лишь до тех пор, пока в нем нуждаются... Семья – это, если угодно, прообраз политических обществ, правитель – подобие отца, народ – его дети...

Так что вот еще несколько семейных историй.

У мсье Дантона было четыре дочери и один сын, младший. Отец не испытывал к нему нежных чувств, кроме, возможно, облегчения, что в семье наконец-то родился мальчик. Дожив до сорока, мсье Дантон скончался. Его жена была беременна, но потеряла ребенка.

Впоследствии Жорж-Жак воображал, что помнит отца. В семье часто говорили об умершем. Мальчик слушал, и постепенно разговоры становились памятью. Вполне разумная стратегия. Мертвые не станут спорить и вносить уточнения.

Мсье Дантон служил чиновником в местном суде. Небольшое состояние, несколько домов, немного земли. Мадам справлялась. Это была властная маленькая женщина, способная постоять за себя. Каждое воскресенье мужа сестер наставляли свояченицу.

Дети росли наказанием Господним. Ломали заборы, гоняли соседских овец, не гнушались никакими шалостями, доступными в сельской местности. Дерзили, когда их заставляли на месте преступления. Швыряли ровесников в реку.

– И это девочки! – восклицал мсье Камю, брат мадам.

– Вовсе не девочки, – возражала мадам. – Это Жорж-Жак. Как ты не поймешь, им приходится выживать!

– Но мы не в джунглях, – говорил мсье Камю. – Мы не в Патагонии, а в Арси-сюр-Об.

Арси покрыт зеленью, местность вокруг желтая и равнинная. Жизнь здесь идет своим чередом. Мсье Камю видит, как за окном ребенок бросает камни в стену амбара.

– Мальчик дурно воспитан, к тому же слишком крупный, – замечает он. – Почему у него перевязана голова?

– Я не обязана перед тобой отчитываться. Хочешь ославить моего сына на весь свет?

За два дня до этого в густеющих теплых сумерках одна из сестер принесла брата домой. Они были на выгуле, играли в ранних христиан. Вероятно, Анна-Мадлен изложила приглаженную версию событий, но, возможно, не все христианские мученики безропотно позволяли быку себя забодать? Некоторые, как Жорж-Жак, вооружались заостренной палкой. У мальчика содрана кожа с половины лица. Насмерть перепуганная мать руками приложила кожу к лицу, вопреки всему надеясь, что она прирастет. Затем крепко перевязала голову и наложила сверху еще одну повязку, чтобы прикрыть шишки и порезы на лбу. Два дня Жорж-Жак в боевом тряпичном шлеме хандрил дома. Жаловался на головную боль. Наступил третий день.

Через сутки после ухода мсье Камю мадам Дантон стояла у того же окна и смотрела – оцепенев, словно в повторяющемся ночном кошмаре, – как останки ее сына несут через поле. У работника с фермы, который нес тяжелое тело на руках, подгибались колени. Следом, поджав хвосты, бежали две собаки, за ними, ревя в голос от ярости и отчаяния, брела Анна-Мадлен.

Когда мадам вышла к ним, в глазах работника стояли слезы.

– Этого проклятого быка надо забить, – сказал он.

Они вошли в кухню. Кровь была повсюду: на рубахе работника, на собачьей шерсти, на фартуке и волосах Анны-Мадлен. Весь пол был в крови. Мадам кинулась искать покрывало или чистую тряпку, чтобы было куда положить труп единственного сына. Задыхающийся от усилий работник привалился к стене, оставляя на штукатурке длинные полосы цвета ржавчины.

– На пол его кладите, – сказал он.

Когда его щека коснулась холодных плиток пола, мальчик тихо застонал, и только тогда мать осознала, что он жив. Анна-Мадлен монотонно повторяла *De profundis*: «От стражи утренняя до ночи да уповаешь Израиль на Господа...»

Мать отвесила ей оплеуху, чтобы замолчала. Курица влетела в кухню и приземлилась ей на ногу.

– Не бейте девочку, – сказал работник. – Она вытащила его из-под копыт.

Жорж-Жак открыл глаза, и его вырвало. Ему велели лежать и ощупали руки и ноги в поисках переломов. У него был сломан нос, на губах пузырилась кровь.

– Не дыши через нос, – посоветовал работник, – не то мозги вытекут.

– Лежи смиренно, Жорж-Жак, – велела Анна-Мадлен брату. – Ты задал быку трепку. Теперь он побоится показываться тебе на глаза.

– Без мужчины в доме как без рук, – заключила ее мать.

До этого происшествия никто особенно не приглядывался к его носу, поэтому никто не мог сказать, утратили ли его черты благородство. Место, где бычий рог пропорол кожу, болело нестерпимо. Шрам спускался по щеке и темно-багровой шпорой вонзался в верхнюю губу.

В следующем году он перенес оспу. Заболели и сестры, но, как порой случается, все выжили. Мать не считала, что отметины его портят. Если тебе суждено быть уродом, так уж постарайся быть поуродливее. На Жоржа оборачивались.

Когда ему исполнилось десять, мать снова вышла замуж. Отчим, Жан Рекорден, торговец из города, был вдов, имел на содержании сына (тихоню). У него были свои странности, но мадам решила, что они друг другу подходят. Жоржа отправили в местную школу. Обнаружив, что учение дается ему без труда, он выбросил учебу из головы. А однажды попал под копыта стаду свиней. Жорж отделался шишками и порезами, под его кудрявой шевелюрой появился еще шрам-другой.

– Я больше не позволю ни одной скотине – ни на четырех ногах, ни на двух – себя растоптать, – заявил он.

– Дай-то Бог, – набожно отозвался отчим.

Прошел год. Однажды его охватил жар, да такой, что клацали зубы. Жорж кашлял кровью, в груди скрипело и клокотало, и это слышали все в комнате.

– Похоже, с легкими плохо, – заявил лекарь. – Столько раз в них ребра втыкались. Мужайтесь, моя дорогая, но лучше бы позвать священника.

Пришел священник. Жоржа соборовали. Однако в следующую ночь мальчик не умер. Три дня спустя он все еще был ни жив ни мертв. Его сестра Мари-Сесиль заставила всех читать молитвы по кругу, отведя себе самые тяжелые часы: от двух ночи до рассвета. В гостиной толпились родственники, подбирая правильные слова. Неловкое молчание сменялось ужасным

гамом, когда все начинали говорить одновременно. Вести о каждом вдохе больного передавались из комнаты в комнату.

На четвертый день мальчик сел на кровати и признал родных. На пятый шутил и требовал еды.

Его объявили излечившимся.

Родные собирались похоронить сына рядом с отцом. Гроб, который поставили в сарае, вернули гробовщику. К счастью, заплатили только задаток.

Когда Жорж-Жак оправился, его отчим съездил в Труа. По возвращении он объявил, что пристроил мальчишку в францисканскую семинарию.

– Вот дурень, – выругалась жена. – Признайся, тебе бы только сбегать его с рук.

– Но где мне взять время на мои изобретения? – разумно возразил Рекорден. – Я живу на поле брани. Если не свиные копыта, то дырявые легкие. Кого понесет купаться в ноябре? Кто в Арси вообще полезет в реку? Тут и плавать-то никто не умеет. Мальчишка отбилась от рук.

– Может быть, он все-таки станет священником, – примирительно сказала мадам.

– Так и вижу, как он печется о своей пастве, – заметил дядя Камю. – Может быть, его пошлют в крестовый поход.

– Понятия не имею, откуда он такой умный, – сказала мадам. – В нашей семье умников отродясь не водилось.

– Спасибо, – отозвался ее брат.

– После семинарии необязательно становиться священником. Есть еще право. Будет в семье свой адвокат.

– А если ему не понравится вердикт? Даже подумать страшно.

– В любом случае позволь мне оставить его дома на год или два, Жан. Он мой единственный сын, мое утешение.

– Как пожелаешь, – ответил Жан Рекорден.

Отчим был человеком мягким, сговорчивым и никогда не перечил жене. Большую часть времени он проводил на дальней ферме, где изобретал станок для прядения хлопка. Жан Рекорден верил, что его изобретение изменит мир.

В четырнадцать лет пасынок избавил семейство от своего шумного присутствия, перебравшись в древний Труа, город чинный и благопристойный. Домашняя скотина здесь знала свое место, а купание в реке святые отцы не поощряли. Так у него появился шанс выжить.

Впоследствии, оглядываясь на свое детство, Жорж-Жак описывал его как на редкость счастливое.

Севернее, в тусклом, редящем утреннем свете празднуют свадьбу. Сегодня второе января, и замерзшие люди в полупустой церкви поздравляют друг друга с Новым годом.

Любовная связь Жаклин Карро продолжалась весну и лето тысяча семьсот пятьдесят седьмого года, и к Михайлову дню она твердо знала, что ждет ребенка. Жаклин никогда не ошибалась. Если только в самых важных вопросах, думала она.

Любовник быстро к ней охладел, ее отец был известен своей несдержанностью, поэтому она незаметно распустила корсаж и вела себя тише воды ниже травы. Когда за отцовским столом Жаклин была не в состоянии впихнуть в себя еду, то бросала ее под стол терьеру, который караулил возле ее юбки. Наступил Рождественский пост.

– Узнай я об этом раньше, – сказал любовник, – все позлословили бы, что дочка пивовара выходит за де Робеспьера, только и всего. Теперь, когда тебя так разнесло, будет еще и скандал.

– Дитя любви, – промолвила Жаклин.

По натуре она не была романтична, но приходилось держать марку. У алтаря Жаклин стояла с гордо поднятым подбородком и не прятала глаз, встречая взгляды членов семьи. Ее собственной семьи – де Робеспьеры на венчание не пришли.

Франсуа исполнилось двадцать шесть, он был восходящей звездой местной адвокатской коллегии и одним из самых завидных женихов во всей провинции. Де Робеспьеры проживали в Аррасе более трехсот лет. Денег у них не было, зато гордости – хоть отбавляй. Жаклин поразила домашний уклад новой семьи. В родительском доме, где пивовар с утра до ночи орал на работников, на стол подавались большие куски мяса. У неизменно вежливых де Робеспьеров в обед довольствовались жидким супчиком.

Считая Жаклин крепкой девицей из простонародья, ее тарелку в мужнином доме наполняли до краев. И даже предлагали отцовское пиво. Но Жаклин была не крепкой, а болезненной и худосочной. Повезло ей попасть в приличное семейство, ядовито судачили соседи. Жаклин не заставляли ничего делать. Она была изящной фарфоровой статуэткой, усладой для глаз, а ее узкий стан раздался, растянутый растущим в чреве младенцем.

Франсуа встал перед алтарем из чувства долга, но, когда прикоснулся к ее телу, снова ощутил подлинную страсть. Его умиляло новое сердечко, которое билось у нее внутри, и первозданный изгиб ее ребер, восхищала прозрачная кожа и тыльная сторона запястий, где трепетали зеленоватые прожилки. Его тянуло к ее зеленым, близоруким, широко раскрытым глазам, взгляд которых то смягчался, то заострялся, как у кошки. А ее слова были словно острые кошачьи коготки.

– Этот солоноватый суп течет у них в жилах, – сказала Жаклин. – Если их проткнуть, из них вытекут хорошие манеры. Слава Богу, завтра мы будем ночевать в собственном доме.

Зима выдалась неловкая, зима щетинилась зубцами и бойницами. Сестры Франсуа сновали туда-сюда, передавали поручения и боялись сболтнуть лишнее. Сын Жаклин родился шестого мая в два часа ночи. В тот же день семья собралась у купели. Крестным стал отец Франсуа, поэтому мальчика нарекли Максимилианом. Это древнее и славное семейное имя, сказал он матери Жаклин. Древнее и славное семейство, к которому отныне принадлежала ее дочь.

В последующие пять лет в семье родилось еще трое детей. К тому времени тошнота, затем страх, затем боль стали естественным состоянием Жаклин. Она забыла, что жизнь бывает иной.

В тот день тетя Элали читала им сказку. Сказка называлась «Лиса и кот». Тетя читала быстро, сердито шурша страницами. Это называется «быть рассеянной», успел подумать он. Детей за такое непременно отшлепают. А ведь это его любимая книжка.

Она и сама походила на лису, когда выпячивала подбородок, прислушиваясь и сводя рыжеватые брови. Надувшись, он съехал на пол и принялся тереть кружево на теткинском манжете. Его мама умеет плести кружево.

Он был полон дурных предчувствий. Ему никогда не разрешали сидеть на полу (сейчас же встань, испортишь одежду!).

Тетя бросила читать на полуслове, прислушалась. Этажом выше умирала Жаклин. Ее дети еще не знали.

Повивальную бабку прогнали, от нее никакого проку, и теперь она сидела на кухне, угощалась сыром, со вкусом грызла корки и пугала кухарку случаями из своей практики. Послали за врачом, и сейчас Франсуа бранился с ним на лестнице. Тетя Элали вскочила и закрыла дверь, но все равно было слышно. Она снова принялась читать, странным, отсутствующим голосом, раскачивая и раскачивая белой аристократической рукой колыбель Огюстена.

– Сама она не разрешится, – раздался мужской голос, – надо резать. – Ему явно не нравилось слово, но выбора не было. – Я мог бы спасти ребенка.

– Ее спасите, – сказал Франсуа.

– Если я буду бездействовать, умрут оба.

– Можете убить ребенка, но спасите ее.

Элали стиснула край колыбели, и от толчка Огюстен заплакал. Повезло ему, он уже родился.

Мужчины продолжали спорить – врача раздражала непонятливость адвоката.

– С таким же успехом я мог бы позвать мясника! – кричал Франсуа.

Тетя Элали встала – книга выскользнула из пальцев, прошелестела вдоль юбки, упала на пол и раскрылась. Тетя взбежала по лестнице.

– Бога ради, тише, там дети!

Страницы трепетали: лиса и кот, черепаха и заяц, мудрый ворон с зорким глазом, медведь под деревом. Максимилиан поднял книгу и расправил углы. Затем взял пухлые ручки сестры и положил на край колыбели.

– Вот так, – сказал он, раскачивая колыбель.

Малышка подняла глаза, младенческие губки безвольно раскрылись.

– Почему?

Тетя Элали прошла мимо Максимилиана, даже не взглянув на него, пот блестел у нее над верхней губой. Он протопал вверх по ступеням. Сгорбившись в кресле, отец плакал, закрывая глаза рукой. Врач смотрел в свой саквояж.

– Щипцы, – сказал врач. – По крайней мере, попробую. Иногда помогает.

Мальчик толкнул дверь и скользнул внутрь, в узкую щелку. Ставни не пускали внутрь гудящие июньские ароматы садов и полей. Огонь пылал в камине, рядом в корзине лежали дрова. Жар был видим и осязаем. Тело его матери укутали белым покрывалом, спину подперли подушками, а волосы заплели в косу. Она приветствовала его движением глаз, не головы, жалким подобием улыбки. Кожа вокруг ее рта посерела.

Серый цвет словно говорил ему: скоро мы расстанемся, ты и я.

Увидев это, Максимилиан повернул назад, у двери подняв руку в робком взрослом жесте солидарности. За дверью стоял врач, перекинув сюртук через руку в ожидании того, кто примет у него одежду.

– Вызови вы меня на несколько часов раньше... – заметил он, ни к кому не обращаясь.

Кресло, где сидел Франсуа, опустело. Кажется, в доме его уже не было.

Прибыл священник.

– Если головка покажется, – сказал он, – я его окрещу.

– Если бы головка показалась, мы бы горя не знали, – ответил врач.

– Или любая конечность, – продолжил священник с надеждой. – Церковь этого не запрещает.

Элали вернулась в комнату роженицы. Когда она открыла дверь, жар хлынул наружу.

– Ей это не повредит? Здесь нечем дышать.

– Холод губителен, – заявил врач, – а впрочем...

– Тогда соборование, – предложил священник. – Надеюсь, здесь найдется подходящий стол.

Священник вытащил белое алтарное покрывало и свечи. Переносная милость Божья прямо у вашего очага.

Врач обернулся.

– Уведите ребенка, – велел он.

Элали подняла его на руки: дитя любви. Когда она несла Максимилиана вниз, ткань ее платья со скрипом терлась о его щеку.

Тетя выстроила их у двери.

– Перчатки, – сказала она. – И шляпы.

– Там тепло, – возразил он. – Нам не нужны перчатки.

– И тем не менее, – не уступала Элали, а ее лицо дергалось.

Заплаканная няня протиснулась мимо них, младенец Огюстен свисал у нее с плеча, словно мешок.

– Пятерых за шесть лет, – сказала она, обращаясь к Элали. – А чего вы хотели? Ее везение иссякло.

Они отправились к дедушке Карро. Позже пришла тетя Элали и сказала, что они должны молиться за братика.

– Крестили? – одними губами спросила бабушка Карро.

Тетя Элали помотала головой и многозначительно скосила глаза на детей.

– Родился мертвым, – ответила она тоже одними губами.

Он вздрогнул. Тетя Элали наклонилась его поцеловать.

– Когда мне можно домой? – спросил он.

– Ты несколько дней поживешь у бабушки, пока твоя мама не поправится.

Однако он помнил серый цвет вокруг ее губ. Он понял, что сказали ему эти губы: скоро я буду лежать в гробу, скоро меня похоронят.

Он гадал, зачем взрослые лгут.

Он считал дни. Тетя Элали и тетя Генриетта часто его навещали. Удивлялись, почему он не спрашивает, как маменькино здоровье? Тетя Генриетта сказала бабушке:

– Максимилиан не спрашивает про мать.

– Черствый мелкий негодник, – ответила та.

Он считал дни, а они все не решались сказать ему правду. Это случилось после девятого дня, во время завтрака. Дети запивали хлеб молоком, когда вошла бабушка.

– Вы должны быть храбрыми, – сказала она. – Ваша матушка ушла к Иисусу.

К младенцу Иисусу, подумал он.

– Я знаю.

Это случилось, когда ему было шесть. Белая занавеска на открытом окне трепетала на ветру, воробьи шумели на подоконнике. Бог Отец во всем величии славы смотрел сверху вниз с картины на стене.

Спустя день-другой, когда Шарлотта показала им на гроб, младшая, Генриетта, ворча, забила в угол, не желая ничего слышать.

– Я почитаю тебе, – сказал он Шарлотте, – только не ту книжку про зверей. Она для меня слишком детская.

Затем взрослая тетя Генриетта взяла его на руки и поднесла к гробу. Тетю трясло, поверх его головы она сказала:

– Я не хотела ему показывать, но дедушка Карро сказал: так надо.

Он сознавал, что это его мама, что это ее заострившееся, как лезвие топора, лицо, ее страшные бумажные руки.

Тетя Элали выбежала на улицу.

– Франсуа, я умоляю тебя, – воскликнула она.

Максимилиан выбежал за ней, цепляясь за теткинны юбки. Он смотрел, как отец уходит, не оглядываясь. Франсуа шел по улице, вон из города. Тетя Элали потянула мальчика обратно в дом.

– Франсуа должен подписать свидетельство о смерти, – сказала она. – А он говорит, что отказывается ставить свою подпись. Что нам делать?

На следующий день Франсуа вернулся. От него пахло спиртным, а дедушка Карро сказал, что он был с женщиной.

Следующие несколько месяцев Франсуа пил не просыхая, пренебрегая клиентами, и те ушли к другим адвокатам. Он мог исчезнуть на несколько дней, а однажды собрал саквояж и сказал, что уходит навсегда.

Бабушка и дедушка Карро утверждали, что никогда его не любили. Мы не станем ссориться с де Робеспьерами – в отличие от него, они люди приличные. Поначалу бабушка и дедушка Карро говорили всем, что Франсуа занят в длительном и важном процессе в соседнем городе. Время от времени он возвращался, заходил без предупреждения, обычно занять денег. Старшие де Робеспьеры не чувствовали себя в состоянии – «в нашем-то преклонном возрасте» – взять на воспитание его детей. Дедушка Карро забрал мальчиков, Максимилиана и Огюстена. Незамужние тетя Элали и тетя Генриетта взяли девочек.

В какой-то момент Максимилиан обнаружил – или узнал от родственников, – что зачат вне брака. Возможно, он принял собственные семейные обстоятельства слишком близко к сердцу, но больше никогда в жизни не упоминал о родителях.

В 1768 году Франсуа де Робеспьер объявился в Аррасе после двухлетнего отсутствия. Он сказал, что был за границей, но не уточнил, где именно и чем занимался. Франсуа пришел в дом дедушки Карро и попросил показать ему сына. Максимилиан стоял в коридоре и слышал, как они ругаются за дверью.

– Ты говоришь, что не мог смириться. А ты спрашивал себя, смирился ли твой сын? Мальчик – вылитая мать. Он слаб, и она была слабой. И ты, зная об этом, не давал ей передышку. Только благодаря мне у твоих сыновей есть чем прикрыть срам, только благодаря мне они выросли христианами!

Отец вышел, увидел его и вслух заметил, какой он мелкий для своего возраста. Затем смущенно пробубнил что-то, а уходя, наклонился поцеловать сына в лоб. От него несло кислотой. Дитя любви отпрянуло, на лице застыло взрослое выражение неприязни. Франсуа выглядел разочарованным. Возможно, он рассчитывал на объятие, на поцелуй, хотел подбросить сынишку в воздух?

Позднее ребенок, который научился скупно отмерять свои чувства, засомневался, не поступил ли он дурно.

– Мой отец приходил меня проведать? – спросил он дедушку Карро.

– Он приходил взять в долг, – пробурчал старик на ходу. – Когда же ты повзрослеешь?

Максимилиан никогда не докучал ни бабушке, ни дедушке. Старики говорили, что дома его не слышно и не видно. Мальчик любил читать и возиться на голубятне. Девочек приводили в гости по воскресеньям, и они вместе играли в саду. Брат разрешал им гладить трепещущие голубиные спинки, но только нежно, одним пальцем.

Сестры умоляли его подарить им голубя, чтобы самим за ним ухаживать. Знаю я вас, отвечал он, наиграетесь и бросите, а голуби требуют заботы, это вам не куклы. Девочки не отставали, воскресенье за воскресеньем они ныли и ныли, пока не уговорили брата. Тетя Элали купила хорошенькую позолоченную клетку.

Спустя несколько недель голубь сдох. Девочки оставили клетку в саду, разразилась гроза. Максимилиан воображал, как птичка в ужасе билась о прутья, ломая крылышки, а вокруг грохотал гром. Рассказывая брату о несчастье, Шарлотта от раскаяния икала и всхлипывала, но он знал, стоит ей выйти на солнечную улицу – и бедный голубь вылетит у нее из головы.

– Мы выставили клетку, чтобы он чувствовал себя свободным. – Шарлотта шмыгала носом.

– Голубь не привык к свободе. Он требует ухода. Я же тебе говорил. Я так и знал.

Однако осознание собственной правоты не доставило ему удовольствия, оставив во рту привкус горечи.

Дедушка пообещал сделать Максимилиана своим партнером, когда тот подрастет, даже отвел внука на пивоварню посмотреть, как варят пиво, и поговорить с работниками. Однако мальчик не выказал особого интереса. Тогда дед заявил, что, если внук более расположен к книгам, пусть учится на священника.

– А Огюстен займется пивом, – сказал он. – А нет, так я продам пивоварню. Я не сентиментален. Свет не сошелся клином на пивоварении.

Когда Максимилиану исполнилось десять, настоятеля монастыря Сен-Вааст убедили принять участие в жизни семьи. Аббат поговорил с Максимилианом наедине, однако тот ему не понравился. Несмотря на скромное достоинство, с которым держался мальчик, он не выказывал почтения к мыслям аббата, словно его ум занимали иные, более возвышенные материи. Однако ребенок явно обладал недюжинными способностями. Аббат даже решил, что мальчик не виноват в своем высокомерии. В любом случае такой способный ребенок заслуживал поощрения. Он проучился в местной школе три года, и учителя не могли на него нахвалиться.

И аббат устроил ему стипендию. Когда он сказал, что попробует что-нибудь сделать для юного Максимилиана, аббат метил высоко. Речь шла ни больше ни меньше, как о лицее Людовика Великого, лучшем учебном заведении страны, где учили сыновей аристократов, но не чурались талантливых бедняков, и где мог преуспеть способный юноша без средств. Так сказал аббат, а кроме того, велел проявлять безграничное усердие, полное повиновение и испытывать вечную благодарность.

– Когда я уеду, ты должна мне писать, – сказал Максимилиан тете Генриетте.

– Разумеется.

– И Шарлотта с Генриеттой тоже пусть пишут.

– Я прослежу.

– В Париже у меня появится много новых друзей.

– Надеюсь.

– А когда я вырасту, то смогу обеспечить сестер и брата. Больше ведь некому.

– А как насчет твоих престарелых тетушек?

– И вас я обеспечу. Мы заживем все вместе в одном большом доме. И никогда не будем ссориться.

Ну, это вряд ли, подумала она. Разве обязательно ему ехать? Он такой маленький для своих двенадцати, говорит тихо, держится робко. Тетя Генриетта боялась, что, оставив дом своего деда, мальчик потеряется в большом мире.

Нет, разумеется, он должен ехать. Нельзя упускать такую возможность, нужно смотреть вперед, не цепляться же всю жизнь за женскую юбку. Порой при взгляде на племянника она вспоминала его мать: у мальчика были такие же глаза цвета морской волны, которые, казалось, улавливали и удерживали свет. Я никогда ее не осуждала, думала Генриетта. У Жаклин было большое сердце.

Летом тысяча семьсот шестьдесят девятого года он усердно подтягивал латынь и греческий. В октябре, препоручив голубей заботам соседской дочки, девочки чуть старше его самого, Максимилиан уехал.

В Гизе под присмотром де Вьефвилей карьера мэтра Демулена шла в гору. Он стал магистратом. По вечерам после ужина они с Мадлен сидели и смотрели друг на друга. Денег вечно не хватало.

В тысяча семьсот шестьдесят седьмом, когда Арман встал на ноги, а младшенькой была Анна-Клотильда, Жан-Николя сказал жене:

– Пора отправлять Камиля в школу.

(Семилетний Камиль по-прежнему таскался за ним из комнаты в комнату, безостановочно говорил тоном де Вьефвилей и спорил с каждым отцовским словом.)

– Поедет в Като-Камбрези, к маленьким кузенам, – продолжал Жан-Николя. – Это недалеко.

У Мадлен хватало своих забот. Старшая дочь все время хворала, слуги отбились от рук, домашний бюджет требовал неусыпного контроля. Жан-Николя свалил все на нее, а еще желал внимания к своим чувствам.

– Не слишком ли он мал, чтобы взваливать на свои плечи груз твоих неосуществленных амбиций?

Жан-Николя становился все большим брюзгой. Через несколько лет, когда юнцы в коллегии адвокатов спросят его, почему, мсье, вы довольствуетесь столь скромной ареной для ваших несомненных талантов, он раздраженно ответит, что вполне доволен карьерой в провинции, да и им не стоит рассчитывать на большее.

Камиля отослали в Като-Камбрези в октябре, а незадолго до Рождества получили восторженное письмо от директора, который расписывал его выдающиеся достижения в учебе. Жан-Николя помахал письмом перед лицом жены:

– А я тебе что говорил? Я знал, что делаю!

Однако Мадлен письмо встревожило.

– Они словно говорят, ваш мальчик так хорош собой и смышлен – нужды нет, что одноногий.

Жан-Николя счел это остроумием. Не далее как вчера Мадлен заявила, что он начисто лишен воображения и чувства юмора.

Вскоре мальчик сам явился к родному очагу. Он заикался так сильно, что из него трудно было вытянуть хоть слово. Мадлен заперлась наверху, велела подавать еду в спальню. Камиль уверял, что святые отцы очень добры, и сказал, что сам виноват. Чтобы утешить сына, отец заявил, что заикание – не его вина, а всего лишь неудобство. Камиль настаивал, что должен пенять на себя, и холодно осведомился, не разрешат ли ему вернуться в школу пораньше, ибо там никому нет дела до его недостатка и никто не обсуждает его с утра до вечера? Жан-Николя сурово спросил святых отцов, как его сына угораздило обзавестись в их школе заиканием? Святые отцы ответили, что Камиль уже был заикой, когда прибыл в Като-Камбрези. Жан-Николя утверждал обратное: до школы его сын заикой не был. Порешили, что Камиль утратил плавность речи, путешествуя в карете, как теряют саквояж или перчатки. Никто не виноват, всякое бывает.

В 1770 году, когда Камиллю было десять, святые отцы посоветовали Жану-Николя забрать сына из школы, потому что они уже не в состоянии ничему его научить.

– Может, мы сумеем найти ему частного учителя, кого-нибудь по-настоящему ученого, – сказала Мадлен.

– Ты с ума сошла? – прикрикнул на нее муж. – Я что, похож на герцога? Или ты вообразила, что я английский ситцевый барон? Или хозяин угольных шахт? Думаешь, у меня есть рабы?

– Нет, не думаю, – ответила его жена. – Я знаю, кто ты. И давно уже не питаю никаких иллюзий.

Разрешить ситуацию помог де Вьефвиль.

– Будет жаль, если таланты вашего сына пропадут втуне из-за нехватки денег. Раз уж, – добавил он грубо, – сами вы звезд с неба не хватаете. – Де Вьефвиль пожевал губами. – Камиль очаровательный ребенок. Будем надеяться, он перерастет свое заикание. Нужно похлопотать о стипендии. Если мы определим его в лицей Людовика Великого, семье не придется много потратить.

– А его возьмут?

– Как мне сказали, он на редкость умен. Станет адвокатом – прославит наше семейство. В следующий раз, когда брат будет в Париже, поручу ему устроить дела от вашего имени. И довольно об этом.

Средняя продолжительность жизни во Франции в те времена увеличилась почти до двадцати девяти лет.

Лицей Людовика Великого был основан в давние времена. Некогда во главе его стояли иезуиты, но после того, как их прогнали из Франции, в лицее заправляли ораторианцы, орден куда более просвещенный. Среди его выпускников было множество людей знаменитых, хотя и весьма разных. Здесь учился Вольтер, пребывающий в изгнании, и мсье маркиз де Сад, который ныне отсиживался в одном из своих замков, пока жена хлопотала о смягчении приговора за отравление и противоестественный блуд.

Лицей располагался на улице Сен-Жак, отрезанный от города высокой стеной и железными воротами. Помещение было не принято отапливать, если только святая вода в церковной купели не замерзала. Зимой, если встать пораньше, можно было набрать сосулек и побросать их в купель, надеясь, что директор смилостивится. Пронизывающие сквозняки рыскали по комнатам, разнося бормотание на мертвых языках.

Максимилиан де Робеспьер отучился в лицее год.

Когда он прибыл сюда, ему было сказано, что из уважения к аббату, которому он обязан этой редкой возможностью, ему надлежит проявлять сугубое прилежание. А коли накатит тоска по дому, так это пройдет. По приезду он сел и составил записку о том, что видел в путешествии, ибо впоследствии, когда он приступит к учебе, в голове не должно быть ничего лишнего. Глаголы спрягались в Париже так же, как в Артуа. Пока в голове крутились глаголы, жизнь обретала порядок и гармонию. Он усердно посещал все занятия. Учителя были к нему добры. Друзей он так и не завел.

Однажды один из старшекласников подошел к нему, пихая перед собой какого-то малыша.

– Эй, как-вас-там? – сказал старшекласник. (У них была манера делать вид, будто они вечно забывают его имя.)

Максимилиан замер, и не подумав обернуться.

– Это вы мне? – спросил он с тем оскорбительно-вежливым видом, который научился на себя напускать.

– Присматривайте за этим младенцем, которого прислали сюда по недоразумению. Он из ваших краев, из Гиза.

Для этих невежественных парижан все едино, подумал Максимилиан.

– Гиз находится в Пикардии, а я родом из Арраса, это в Артуа, – спокойно ответил он.

– Какая разница? Надеюсь, вы найдете время оторваться от ваших высокоученых трудов и помочь ему освоиться.

– Хорошо, – сказал Максимилиан.

Он обернулся, чтобы рассмотреть так называемого младенца – очень симпатичного и очень смуглого мальчика.

– И чему вы намерены себя посвятить? – спросил Максимилиан.

В это мгновение по коридору, поживаясь, проходил отец Эрриво.

– А вот и вы, Камиль Демулен, – промолвил он, остановившись.

Отец Эрриво, прославленный знаток древних языков, старался не упускать ничего. Впрочем, его глубокие познания не спасали от пронизывающего осеннего холода, а то ли еще будет зимой.

– Мне говорили, вам всего десять, – сказал святой отец.

Мальчик поднял голову и кивнул.

– Однако для своих лет вы неплохо образованны?

– Да, это так, – ответил малыш.

Отец Эрриво, прикусив губу, заспешил прочь по коридору.

Максимилиан снял очки, которые его заставляли носить, и протер уголки глаз.

– Лучше говорить: «Да, святой отец». Им это нравится. И не кивайте, их это раздражает. А кроме того, если вас спрашивают, умны ли вы, следует держаться скромнее. Говорите: «Я стараюсь, святой отец». Что-нибудь вроде того.

– Вы подхалим, как-вас-там? – спросил малыш.

– Это просто совет. Я делюсь с вами опытом.

Максимилиан снова надел очки. Большие черные глаза мальчика всплыли в его глаза. На миг ему представился запертый в клетке голубь. Он почувствовал в ладонях перышки, мягкие и безжизненные: в крохотных косточках не бился пульс. Он провел рукой по сюртуку.

Малыш был заикой, и это смущало Максимилиана. И вообще в ситуации было что-то тревожное. Он чувствовал, что его и без того шаткое положение в школе под угрозой; внезапно жизнь усложнилась, а дальше будет еще хуже.

Когда Максимилиан приезжал в Аррас на летние каникулы, Шарлотта неизменно замечала:

– А ты не очень-то и подрос.

И так всякий раз, из года в год.

Учителя его ценили. Талантами не блещет, замечали они, однако следует отдать ему должное: он всегда говорит правду.

Максимилиан не знал, как к нему относятся школьные товарищи. Если бы его попросили описать свои качества, он назвал бы себя способным, ранимым, упорным и необщительным. Но насколько эта оценка отличалась от того, что думали о нем окружающие? Разве можно рассчитывать, что когда-нибудь твои мысли разделят другие?

Он нечасто получал письма из дома. Аккуратные детские каракули Шарлотты не содержали в себе ничего важного. Пару дней он таскал письма в карманах, а после выбрасывал, не зная, что с ними делать дальше.

Камиль Демулен, напротив, получал письма дважды в неделю, обширные послания, которые становились предметом всеобщего увеселения. Камиль объяснял, что впервые его отправили в школу, когда ему исполнилось семь, и потому родных он знает главным образом по переписке. События из писем складывались в главы, и когда он читал их вслух между занятиями, ученики представляли членов его семьи персонажами романа. Порой на всех нападала беспричинная веселость от невинной фразы вроде: «Твоя матушка надеется, что ты ходишь к исповеди». Фраза повторялась потом несколько дней кряду, доводя товарищей до слез. Камиль признался, что его отец пишет «Энциклопедию права». Впрочем, он считал, что отец запирается в кабинете, чтобы избежать вечерних бесед с матерью, а сам тайком читает «плохие книги», как именовал их заместитель директора лицея отец Пруайяр.

Камиль отвечал на письма, заполняя страницу за страницей своим размашистым неразборчивым почерком. Корреспонденцию он сохранял для потомков.

– Постарайся усвоить одну истину, Максимилиан, – наставлял отец Эрриво, – люди в большинстве своем ленивы и оценивают тебя так, как ты сам себя оцениваешь. Убедись, что оцениваешь себя достаточно высоко.

Камиль, напротив, никогда не испытывал трудностей с самооценкой. Он умел втираться в доверие к ученикам старше и знатнее, умел прослыть модным и светским. Его взял под крыло Станислас Фрерон, старше его на пять лет и носящий имя своего крестного, короля Польши. Семья Фрерона славилась богатством и ученостью, а его дядя был заклятым врагом Вольтера. В Версале в возрасте шести лет Фрерон читал стихи мадемуазель Аделаиде, мадемуазель Софи и мадемуазель Виктории, дочерям старого короля, которые обласкали его и задарили сладостями.

– Когда ты станешь старше, я введу тебя в общество и помогу сделать карьеру, – говорил ему Фрерон.

Испытывал ли Камиль к нему благодарность? Едва ли. Слушая Фрерона, он только кричился. И придумал ему прозвище Кролик. Фрерон задумался и подолгу изучал в зеркале свое лицо. Неужели его зубы и впрямь так сильно торчат вперед? Или дело в том, что он держится слишком робко?

Луи Сюло, юноша с ироничным складом ума, улыбался, когда юные аристократы ругали существующие порядки. Поучительно наблюдать, замечал он, как люди роют себе яму. Скоро будет война, говорил он Камиллю, и мы окажемся на разных сторонах. Давай же проявлять друг к другу доброту, пока можем.

– Я больше не стану ходить к исповеди, – заявил Камиль отцу Эрриво. – Если вы меня заставите, я притворюсь другим человеком. Придумаю чужие грехи и покаюсь.

– Будь благоразумен, – отвечал отец Эрриво. – Когда тебе исполнится шестнадцать, можешь порвать с религией. Самый подходящий для этого возраст.

Однако к шестнадцати за Камилем числились и другие грехи. Каждый день Максимилиана де Робеспьера мучили мрачные догадки.

– Как ты отсюда выбираешься? – спрашивал он.

– Это же не Бастилия, – отвечал Камиль. – Иногда придумываю отговорку. Иногда перебегаю через стену. Показать где? Нет, лучше тебе не знать.

В стенах лицея собралось мыслящее сообщество – за железными воротами рыскали волки. Словно людей заперли в клетке, а дикие звери примерили на себя людские занятия. Город смердел богатством и пороком, нищие валялись в грязи вдоль дорог, палачи прилюдно мучили своих жертв, людей избивали и грабили при свете дня. То, что находил Камиль за стеной, возбуждало и ужасало его. Этот погрязший во мраке город, забытый Богом, вещал он, место гнусного духовного разврата и ему суждено ветхозаветное будущее. Общество, в которое Фрерон намеревался его ввести, есть огромный ядовитый организм, ковыляющий к собственной гибели. Только люди, подобные тебе, говорил он Максимилиану, способны управлять этой страной.

– Подожди, когда отца Пруайяра назначат директором. Вот тогда нам всем несдобровать, – говорил Камиль, а его глаза горели радостным возбуждением.

Как это похоже на Камилля, думал Максимилиан: для него чем хуже, тем лучше. Только он способен мыслить подобным образом.

Однако, как порою случается, отца Пруайяра обошли, назначив новым директором отца Пуаньяра д'Антъенлуа, человека либеральных взглядов и весьма одаренного.

– Отец Пруайяр утверждает, что у вас есть «шайка», – сказал он Максимилиану. – Говорит, что все вы анархисты и пуритане.

– Отец Пруайяр меня не жалует, – отвечал Максимилиан. – К тому же он преувеличивает.

– Разумеется, преувеличивает. Не тяните. Через полчаса мне дела принимать.

– Пуритане? Ему бы радоваться.

– Если бы вы с утра до вечера говорили о женщинах, он знал бы, что делать, однако он уверяет, что вы обсуждаете политику.

– И он прав. – Максимилиан стремился найти рациональное объяснение трудностям своих наставников. – Он боится, что высокие стены не уберегут нас от пагубных американских идей. Разумеется, он прав.

– У каждого поколения свои страсти. Учитель понимает их. Порой я думаю, что наша система в целом дурно устроена. Мы отнимаем у вас детство, пестуем ваши идеи в оранжерейных условиях, а после вымораживаем вас стужей деспотизма.

Священник вздохнул, собственная метафора его расстроила.

Максимилиан вспомнил о пивоварне. Чтобы варить пиво, классического образования не нужно.

– Вы считаете, что не следует возбуждать напрасных надежд?

– Мне жаль, что мы развиваем ваши таланты, а после говорим вам... – священник поднял вверх ладони, – а теперь хватит. Мы не можем обещать юноше вроде вас привилегии, которые даруют происхождение и богатство.

– Все так. – Юноша улыбнулся, невесело, но искренне. – Для меня это не новость.

Новый директор не понимал, за что отец Пруайяр недолюбливает этого юношу. Он не проявляет враждебности, не стремится взять верх над собеседником.

– Итак, что вы намерены делать, Максимилиан? К чему вас влечет? – Отец Пуаньяр знал, что стипендия позволяет юноше получить степень по медицине, теологии или юриспруденции. – Все думают, что вы выберете церковь.

– Пусть думают.

Священник отметил тон, каким это было сказано: юноша с должным почтением относился к чужому мнению, но считаться с ним не собирался.

– У моего отца была адвокатская практика. Я намерен продолжить его дело. Мне придется вернуться домой. Знаете, я ведь старший сын в семье.

Разумеется, отец Пуаньяр знал. Знал, что родственники скрепя сердце выделяют Максимилиану жалкие гроши сверх стипендии, и тот ни на миг не может забыть о своем невысоком положении. В прошлом году лицейскому казначею пришлось выдать юноше деньги на новый сюртук.

– Карьера в провинции, – промолвил священник. – Вас устроит карьера в провинции?

– Я не выйду за пределы привычного круга.

Сарказм? Возможно.

– Но, святой отец, вас беспокоит моральный настрой в лицее. Не хотите побеседовать с Камилем? Уверяю вас, он больше меня разбирается в моральном настрое.

– Не нравится мне, что все здесь называют его по имени, – сказал священник. – Словно какую-то местную знаменитость. Он что, думает всю жизнь прожить на одном имени? Я невысокого мнения о вашем друге. Только не говорите мне, что вы ему не сторож.

– Боюсь, что именно сторож. – Максимилиан задумался. – Но, святой отец, никогда не поверю, что вы о нем невысокого мнения!

Священник рассмеялся:

– Отец Пруайяр считает, что вы не только пуритане и анархисты, но и страшные позеры. Болезненно самолюбивые, манерные... как этот юноша Сюло. Однако вы не такой.

– Думаете, мне следует оставаться самим собой?

– Почему бы нет?

– Мне кажется, это требует еще больших усилий.

Позднее, отложив требник, священник размышлял над разговором. Бедный мальчик, решил он. Его судьба – прозябать в провинции.

Год 1774-й. Позеры они или нет, но приходит время взрослеть. Время выйти на публику, время совершать публичные поступки и высказывать публичные суждения. Отныне всему, что с ними случится, суждено предстать перед судом истории. Не в зареве дневного светила, но в свете блуждающего огня разума. В лучшем случае в отраженном проблеске луны, сухом, неверном, подслеповатом.

Камиль Демулен, 1793 год: «Полагают, что обретение свободы сродни взрослению: придется страдать».

Максимилиан Робеспьер, 1793 год: «История есть выдумка».

## Глава 2

### Блуждающий огонь (1774–1780)

Сразу после Пасхи король Людовик XV заболел оспой. От самой колыбели короля окружали придворные, его пробуждение подчинялось суровым и запутанным правилам этикета, обед непременно проходил на публике, где сотни любопытных по очереди глазели на каждый поднесенный ко рту кусок. Каждое шевеление королевских кишок, каждый любовный акт, каждый вздох короля подвергался всеобщему обсуждению: теперь пришел черед смерти.

Королю пришлось прервать охоту, его принесли во дворец ослабевшего и в жару. Ему исполнилось шестьдесят четыре, и все понимали, что едва ли он переживет болезнь. Когда появилась сыпь, короля затрясло от страха, ибо он понял, что скоро умрет и попадет в ад.

Дофин с женой заперлись в своих комнатах, опасаясь заразы. Когда нарывы начали гноиться, двери и окна распахнули настежь, однако вонь все равно стояла невыносимая. В последние часы гниущее тело отдали докторам и священникам. Карета мадам Дюбарри, последней королевской любовницы, навсегда умчалась из Версаля, и только после ее отъезда, когда король понял, что остался один, ему отпустили грехи. Он посылал за ней, но ему сказали, что она уже уехала.

– Уже, – повторил король.

В ожидании дальнейших событий двор собрался в громадном вестибюле, прозванном Бычьим глазом. Десятого мая в четверть третьего пополудни свечу в окне королевской спальни задули.

И тогда, словно гром среди ясного неба, раздался шорох, шуршание, а затем и топот сотен ног. Позабыв обо всем на свете, двор ринулся через Большую галерею разыскивать нового короля.

Юному королю девятнадцать, его жена, австрийская принцесса Мария-Антуанетта, на год младше. Король, крупный юноша, набожный, честный и флегматичный, любит поохотиться и всласть поесть. Судачат, что из-за болезненно чувствительной крайней плоти он не способен удовлетворять телесные желания. Самовлюбленная, упрямая и дурно образованная королева белокура, розовощека и миловидна. В восемнадцать все девушки миловидны, но ее выступающая габсбургская челюсть намекает на фамильную заносчивость, затмевающую преимущества, что дают шелка, бриллианты и невежество.

Надежды на новое правление высоки. На статуе великого Генриха IV рука неизвестного оптимиста начертала: *Resurrexit*<sup>1</sup>.

Когда начальник городской полиции утром приходит на службу – сегодня, в прошлом году, каждый год, – он первым делом спрашивает, какова цена хлеба в парижских булочных. Если в Ле-Аль достаточно муки, тогда пекарни в городе и предместьях удовлетворят своих покупателей и тысячи разносчиков доставят хлеб на рынки в Маре, Сен-Поль, Пале-Рояль и тот же Ле-Аль.

В хорошие времена хлеб стоит от восьми до девяти су. Поденный рабочий зарабатывает в день двадцать су, каменщик – сорок, искусный замочный мастер или плотник – пятьдесят. Деньги идут на оплату жилья, свеч, жира для готовки, овощей и вина. Мясо только по особым случаям. Главное – хлеб.

---

<sup>1</sup> Воскрес (*лат.*).

Пути доставки неизменны и строго контролируются. То, что не распродано в течение дня, уходит задешево. Бедняки не едят до темноты и закрытия рынков.

До некоторых пор все идет хорошо, но, когда случается недород – в 1770, 1772 и 1774-м, – цены неумолимо ползут вверх. Осенью 1774-го четырехфунтовый хлеб стоит в столице одиннадцать су, но уже следующей весной цена вырастет до четырнадцати. Между тем оплата труда остается прежней. Строительные рабочие всегда готовы отстаивать свои права, а равно ткачи, переплетчики и шляпники (бедняги), однако протестовать они будут, скорее опасаясь снижения оплаты, чем добиваясь ее повышения. Не забастовки, но хлебные бунты – последнее прибежище городского рабочего люда, поэтому температура воздуха и количество осадков над дальними хлебными полями напрямую связаны с головной болью начальника городской полиции.

Как только возникает дефицит пшеницы, люди кричат: «Они сговорились! Морят нас голодом!» Клянут спекулянтов и перекупщиков. Мельники, утверждают они, задумали извести замочных мастеров, шляпников, переплетчиков вместе с их детьми. В семидесятых годах сторонники экономической реформы разрешат свободную торговлю зерном, чтобы самые бедные области страны могли состязаться на свободном рынке, но небольшой хлебный бунт или два – и государство вновь возьмет все под контроль. В 1770 году аббат Терре, генеральный контролер финансов, очень быстро вернул регулируемые цены, пошлины и запрет на перевозку зерна. Он никого не спрашивал, а действовал согласно королевскому указу. «Деспотизм!» – кричали те, кто сегодня ел.

Все начинается с хлеба, он основа всех теорий, пища для всех рассуждений о том, что сулит будущее. Через пятнадцать лет, в день, когда падет Бастилия, цена на хлеб в Париже будет самой высокой за последние шестьдесят лет. Через два десятилетия (когда все будет кончено) одна парижанка скажет: «При Робеспьере кровь лилась рекой, зато у людей был хлеб. Возможно, ради хлеба и стоило пролить немного крови».

Король назначил генеральным контролером финансов некоего Тюрго, сорока восьми лет, человека нового, рационалиста, сторонника принципа невмешательства. Он кипел энергией, брызгал идеями, его переполняли замыслы реформ, которые, по его словам, уберегут страну от гибели. Тюрго воображал себя героем дня и прежде всего задумал урезать содержание двора. Версаль был потрясен. Один из придворных, Мальзерб, посоветовал новому министру вести себя осмотрительнее, иначе наживет врагов.

– Народ нуждается, – резко ответил Тюрго, – а что до меня, то в моем семействе все умирают в пятьдесят.

Весной 1775 года волнения прокатились по рыночным городам, особенно в Пикардии. В Версале восемь тысяч горожан собрались у дворца и стояли, с надеждой всматриваясь в королевские окна. Как обычно, люди полагали, что личное вмешательство короля спасет положение. Интендант Версаля пообещал, что цена на пшеницу будет заморожена. Нового короля уговорили обратиться с балкона к народу. После чего народ мирно разошелся.

В Париже толпы грабили булочников на левом берегу Сены. Полиция произвела несколько арестов, стараясь не нагнетать обстановку и избегать открытых столкновений. Было предъявлено сто шестьдесят два обвинения. Двух мародеров, одному из которых исполнилось шестнадцать, повесили на Гревской площади одиннадцатого мая в три пополудни. Чтобы другим было неповадно.

В июле 1775 года молодой король и его красавица-жена должны были посетить лицей Людовика Великого. Подобный визит традиционно следовал за коронацией, но их величества не собирались задерживаться надолго – впереди их ждало множество других увеселений. Свита должна была дожидаться короля с королевой у главных ворот, где они выйдут из кареты, а

самый прилежный из учеников прочтет приветственный адрес. В назначенный день погода испортилась.

За полтора часа до прибытия почетных гостей учеников и учителей выстроили у ворот на улице Сен-Жак. Конные полицейские без церемоний оттеснили их назад и заставили перестроиться. Редкие капли сменились густой моросью. Затем появились королевские приближенные, стражники и придворные. К тому времени, как они разместились у ворот, все успели промокнуть, замерзнуть и перестали искать место с наилучшим обзором. Никто не помнил последней коронации, поэтому никто не предполагал, что все так затянется. Ученики сбились в кучки, приплясывали на месте и ждали. Если кто-нибудь ненароком выступал вперед, полицейские отпихивали его назад, потрясая оружием.

Наконец показалась королевская карета. Теперь все стояли на цыпочках, вытянув шею, а самые младшие ныли, что, прождав столько времени, ничего не увидят. Директор отец Пуаньяр вышел из толпы, отвесил поклон и, обращаясь к королевскому экипажу, начал подготовленную речь.

Во рту у стипендиата пересохло, его руки слегка дрожали. Хорошо, что он будет читать на латыни и никто не заметит его провинциального акцента.

Королева высунула из окна хорошенькую головку и снова скрылась в карете. Король махнул рукой и что-то пробормотал человеку в ливрее, который с усмешкой передал его слова официальным лицам, а те, обращаясь к замершему в ожидании остальному миру, обошлись пантомимой. Все ясно – выходить их королевские величества не собирались. Приветственный адрес надлежало прочесть, обращаясь к карете, где уютно устроилась королевская чета.

Голова у отца Пуаньяра шла кругом. Следовало расстелить ковры, развесить балдахины, возвести временный павильон, украшенный зелеными ветками в модном деревенском стиле, а возможно, флагами с королевским гербом или венками из цветов в виде королевских монограмм. На его лице отображались ужас и раскаяние. К счастью, отец Эрриво сообразил подать знак стипендиату.

Стипендиат начал читать, голос постепенно набирал силу. Отец Эрриво выдохнул, он сам писал речь, сам готовил юношу. И теперь мог быть доволен – речь удалась.

Королева поежилась от холода.

– Ах! – прошелестело по рядам. – Она продрогла!

Спустя мгновение королева подавила зевок. Король участливо повернулся к ней. Но что это? Кучер натянул поводья! Тяжелый экипаж, заскрипев, сдвинулся с места. Они уезжали, не дослушав адрес, не ответив на приветствие.

Стипендиат как будто не заметил, что происходит. Он продолжал читать, глядя прямо перед собой, лицо было бледным и спокойным. Не мог же он не заметить, что карета катится по улице, унося прочь сиятельных пассажиров?

Невысказанные чувства повисли в воздухе. Мы готовились весь семестр! Ученики бесцельно топтались на месте. Дождь припустил с новой силой, но всем казалось невежливым рвануть сквозь толпу в поисках укрытия. Впрочем, они поступили бы не грубее, чем король с королевой, оставив Как-вас-там разглагольствовать в одиночестве посреди улицы...

– Не принимайте это на свой счет, – сказал ему отец Пуаньяр. – Мы не виноваты. Ее величество просто устала...

– Надо было обратиться к ним на японском, – заметил стоявший рядом юноша.

– В кои-то веки вынужден с вами согласиться, Камиль, – ответил отец Пуаньяр.

К тому времени стипендиат завершил свою речь. Без улыбки он тепло пожелал монархам, уже скрывшимся из виду, счастливого пути и выразил верноподданническую надежду, что в скором времени лицей будет иметь честь...

Рука сочувственно опустилась юноше на плечо.

– Не переживайте, де Робеспьер, на вашем месте мог оказаться любой.

И тут стипендиат позволил себе улыбнуться.

Это случилось в июле 1775-го в Париже. В Труа Жорж-Жак Дантон перевалил за половину отпущенных ему лет. Разумеется, его родные об этом не догадывались. Он хорошо учился, но едва ли вы назвали бы его уравновешенным. Будущее Жорж-Жака было предметом семейных дискуссий.

Однажды в Труа рядом с кафедральным собором человек рисовал портреты прохожих. Он делал наброски, поглядывал на небо и мурлыкал себе под нос популярную, крайне привязчивую мелодию.

Никто не хотел становиться его моделью, прохожие торопливо проскакивали мимо. Впрочем, художника это не смущало – казалось, в этот погожий летний денек он нашел себе лучшее занятие на свете. Художник был не местный, одет с претензией, по-столичному. Жорж-Жак остановился напротив. Он колебался. Ему хотелось увидеть набросок и поговорить с художником. Он любил разговаривать с людьми, особенно с незнакомцами. Хотел знать все про чужую жизнь.

– Желаете портрет? – Художник на него не смотрел, потому что клал на доску новый лист. Юноша засомневался.

– Вы студент, денег нет, я все понимаю. Но ваше лицо – Господи Иисусе, досталось же вам! В жизни не видал таких шрамов. Просто не двигайтесь, пока я набросаю углем несколько вариантов, а после получите самый удачный.

Жорж-Жак стоял смирно, косясь на художника уголком глаза.

– Только не разговаривайте, – велел ему тот. – Сейчас я одолею эту ужасную насупленную бровь и все вам расскажу. Итак, меня зовут Фабр. Фабр д’Эглантин. Забавное имечко. Вы спросите, почему д’Эглантин? Ну, раз уж вы изволили спросить, в тысяча семьсот семьдесят первом на литературном состязании в Тулузской академии мой талант почтили венком из эглантерий. Невероятное, поразительное признание поэтических заслуг, предмет зависти многих, не правда ли? Честно говоря, я предпочел бы маленький золотой слиток, но что поделаешь? Друзья заставили меня добавить к моему собственному имени этот довесок в память о грандиозном событии. Поверните голову. Нет, в другую сторону. Должно быть, вы спрашиваете себя, почему этот малый, чьи труды на литературном поприще оценены так высоко, рисует портреты на улицах?

– Вероятно, вы обладаете самыми разнообразными талантами, – предположил Жорж-Жак.

– Кое-кто из местных сановников пригласил меня почитать вслух мои сочинения, – сказал Фабр. – Впрочем, ничего не вышло. Я поссорился с моими покровителями. Наверняка вы слышали, с творцами такое случается сплошь и рядом.

Стараясь не вертеть головой, Жорж-Жак пытался рассмотреть художника. Лет около двадцати пяти, невысокий, короткие ненапудренные черные волосы. Сюртук был вычищен, но протерся на обшлагах, а рубашка изнасилась. Все, что Фабр говорил, звучало серьезно и несерьезно одновременно, а его лицо постоянно меняло выражение.

Художник выбрал другой карандаш.

– А теперь левее, – попросил он. – Говорите, мои таланты разнообразны? На самом деле я драматург, постановщик, портретист, как видите, а также пейзажист. А еще композитор, музыкант, поэт и балетмейстер. Еще я пишу эссе на любые общественно значимые темы и говорю на нескольких языках. Кроме того, мне хотелось бы заняться садово-парковой архитектурой, но пока у меня не было заказов. Увы, мир не готов меня принять. До прошлой недели я был бродячим актером, но остался без труппы.

Фабр закончил рисовать. Отбросив карандаш, он прищурился, держа наброски на вытянутых руках.

– Этот, – решил наконец художник. – Самый удачный, держите.

На Дантона с бумаги смотрело его некрасивое лицо: длинный шрам, расплющенный нос, густая прядь волос надо лбом.

– Когда вы прославитесь, – сказал Жорж-Жак, – этот портрет будет стоить немало. – Он поднял глаза. – А что случилось с другими актерами? Вы собирались дать представление?

Жорж-Жак не отказался бы увидеть пьесу. Его жизнь текла безмятежно и предсказуемо.

Неожиданно Фабр резко вскочил с табурета и показал неприличный жест в сторону Барсюр-Сен.

– Два наших славных лицедея плесневеют в деревенском узилище по обвинению в пьянстве и нарушении общественного порядка, а нашу приму несколько месяцев назад обрюхатил какой-то жалкий сельский субъект, и теперь она годится лишь на самые вульгарные роли в низкопробной комедии. Труппа распалась. Временно. – Он снова сел. – А теперь о вас. – Глаза Фабра зажглись интересом. – Вряд ли вы готовы сбежать из дома и стать бродячим актером.

– Нет, не готов. Мои родные хотят, чтобы я стал священником.

– О, оставьте эту мысль. Знаете, как выбирают епископов? По родословной. У вас есть родословная? Посмотрите на себя. Вы деревенский юноша. Какой смысл заниматься чем бы то ни было, если нет надежды взобраться на самую вершину?

– Но достигну ли я высот, если стану бродячим актером? – учтиво спросил Жорж-Жак, словно и впрямь обдумывал такую мысль.

Фабр расхохотался:

– Вы можете играть злодеев. Успех вам обеспечен. У вас богатый тембр, только вы не умеете им пользоваться. – Он похлопал себя по груди. – Голос должен идти отсюда. – Фабр постучал кулаком ниже диафрагмы. – Представьте, что голос – это река. Отпустите ее, пусть вольно течет вдаль. Весь трюк в дыхании. Расслабьтесь, расправьте плечи. Дышите отсюда, – он ткнул себя в грудь, – и сможете говорить несколько часов кряду.

– Зачем мне это? – спросил Дантон.

– О, я знаю, что у вас в голове. Вы думаете, актеришки – низший слой общества. Ходячее дерьмо. Как протестанты. Как евреи. Тогда ответьте мне, юноша, чем вы-то лучше? Все мы черви, все дерьмо. Вы сознаете, что завтра вас могут упрятать в темницу до конца дней, если король подпишет бумажку, которую даже не читал?

– Не понимаю, зачем ему это, – сказал Дантон. – Я не собираюсь давать ему повода. Я простой студент.

– Все так. Просто попробуйте в ближайшие сорок лет не привлекать к себе внимания. Королю не нужно вас знать, как вы не поймете? Господи, чему вас теперь учат? Любой, любой, кому вы не понравитесь и кто решит убрать вас с дороги, может подsunуть королю документ: «Подпишите тут, ваше дурейшество», – и вот вы уже в Бастилии, в цепях, в пятидесяти футах под улицей Сент-Антуан, а компанию вам составляет кучка костей. Вы не останетесь в одиночестве – тюремщики не убирают из камер старые скелеты. А еще они вывели особую породу крыс, которая сжирает узников живьем.

– Как? По кусочку?

– Вот именно. Сначала пальчик, потом пяточка.

Он поймал взгляд Дантона, прыснул, смял испорченные листы и швырнул через плечо.

– Чтоб я сдох, – промолвил Фабр. – Ну и работенка – наставлять вас, провинциалов, на путь истинный. Сам не знаю, что я здесь делаю и почему не сколачиваю состояние в Париже.

– В скором времени я тоже надеюсь быть в Париже, – сказал Жорж-Жак. Его звучный голос осекся. До сей поры он не собирался никуда уезжать. – Возможно, там мы встретимся.

– Никаких «возможно», – сказал Фабр. Он поднял набросок, который признал не самым удачным. – Я сохраню в папке ваше лицо. Я непременно вас найду.

Юноша протянул ему мощную ладонь:

– Меня зовут Жорж-Жак Дантон.

Фабр поднял глаза, его подвижное лицо было спокойно.

– До свидания, Жорж-Жак. Учите право. Юриспруденция – это оружие.

Всю неделю он думал о Париже. Поэт-лауреат не шел у него из головы. Может быть, он и ходячее дерьмо, но, по крайней мере, кое-где побывал и волен идти куда глаза глядят. Дыши отсюда, повторял Жорж-Жак. Он попробовал. Все так и есть. Он чувствовал, что способен говорить дни напролет.

Бывая в Париже, мсье де Вьефвиль дез Эссар обычно заглядывал к племяннику в лицей Людовика Великого. Однако с недавних пор его мучили сомнения, и весьма обоснованные, относительно будущего Камиля. Его речевой дефект нисколько не уменьшился, а напротив, усилился. Когда мсье де Вьефвиль разговаривал с племянником, на губах юноши трепетала тревожная улыбка. Камиль запинаясь посреди фразы, и это смущало собеседника, а порой вызывало жалость. Вам хотелось закончить фразу за него, но с Камилем вы никогда не знали, к чему он клонит. Порой его высказывания начинались вполне тривиально, а завершались совершенно неожиданно.

Казалось, юноша не способен – в некоем более глубинном смысле – вписаться в то будущее, которое для него наметили. Он так робел, что вам чудилось, будто вы слышите в тишине стук его сердца. Тщедушный, хрупкий, с мертвенно-бледной кожей и копной черных волос, он поглядывал на дядю из-под длинных ресниц и не мог усидеть на месте, словно каждое мгновение искал повод ретироваться. Бедняжка, сокрушался дядя.

Впрочем, за пределами лица его сочувствие мгновенно улетучивалось. Мсье де Вьефвилью начинало казаться, что его снова обвели вокруг пальца. Это было нечестно. Словно тебя спихнул в канаву калека. Ты можешь жаловаться, но, учитывая обстоятельства, едва ли это будет уместно.

Главной целью визитов мсье де Вьефвиля в Париж было участие в работе парламента. В те времена в парламент не выбирали. Де Вьефвили купили свое место и намеревались передать наследникам, возможно, Камилю, если тот изменит свое поведение. Парламент рассматривал судебные дела и одобрял королевские эдикты, подтверждая таким образом свои законодательные полномочия.

Время от времени парламенты становились непокорными. Парламентариям случалось выпускать декреты о тяжелом положении в стране, но только тогда, когда они чувствовали угрозу собственным интересам или, напротив, видели возможность улучшить свое положение. Мсье де Вьефвиль принадлежал к той части среднего класса, которая не стремилась сокрушить аристократию, а напротив, мечтала с ней слиться. Должности, посты, монополии – все имело свою цену и могло принести титул.

Парламентарии волновались, когда корона начинала отстаивать свои права, выпускала декреты по вопросам, которых не касалась раньше, и высказывала радикальные идеи управления государством. Порой им случалось не угодить королю. Противостоять властям было делом новым и рискованным, так что парламентарии ухитрялись быть одновременно архиконсерваторами и народными трибунами.

В январе 1776 года министр Тюрго предложил отказаться от феодального права, именуемого дорожной повинностью, – иными словами, от принудительного труда при строительстве дорог и мостов. Министр полагал, что состояние дорог улучшится, если поручить их заботам частных подрядчиков, а не крестьянам, которых оторвали от работы на полях. Но кто будет за

это платить? Возможно, следует ввести налог на недвижимое имущество для каждого состоятельного человека, не исключая аристократов?

Парламент решительно отверг этот проект. После ожесточенных споров король заставил парламентариев утвердить отмену дорожной повинности. Тюрго стал всеобщим врагом. Королева и ее приближенные развязали против него настоящую войну. Король не выносил дрызг и не любил, когда на него давили. В мае он отправил Тюрго в отставку, и принудительный крестьянский труд был восстановлен.

Итак, одного министра сбросили; ничто не мешало повторить этот трюк. Как заметил граф д'Артуа в спину уходящему экономисту: «Наконец-то мы можем тратить деньги».

Если король не охотился, то запирался в мастерской, где возился с железками и замками. Он надеялся, что, если не принимать никаких решений, то избежишь ошибок. Не вмешивайся, и дела будут идти своим чередом, как шли испокон веков.

После того как прогнали Тюрго, Мальзерб тоже подал прошение об отставке.

– Повезло вам, – уныло промолвил король. – Хотел бы я последовать вашему примеру.

1776 год. Декларация Парижского парламента:

Первое правило закона – защищать любого, признающего его главенство. Это фундаментальная норма естественного права, прав человека и гражданского правления. Норма, основанная не только на праве собственности, но также на правах, которыми человек наделен по праву рождения и общественного положения.

По приезде домой мсье де Вьефвиль пробирался сквозь узкое скопление городских улочек и тесное скопление провинциальных сердец. Он заставлял себя навестить Жана-Николя в его высоком белом, забитом книгами доме на Плас-д'Арм. Однако с недавних пор мэтра Демулена одолевала одна навязчивая идея, и де Вьефвиль боялся этих встреч, страшился увидеть его озадаченный взгляд и вновь услышать вопрос, на который никто ответить не мог: что случилось с тем славным и красивым ребенком, которого отец девять лет назад отправил учиться в Като-Камбрези?

В день шестнадцатилетия Камиля Жан-Николя бродил по дому.

– Порой я думаю, – сказал он, – что получил испорченное маленькое чудовище, лишенное чувств и разума.

Он написал в Париж святым отцам, спрашивая, чему они учили его сына? Почему он выглядит так неряшливо? Почему в свой последний приезд соблазнил дочь городского советника – «человека, с которым я вижу ежедневно с тех пор, как начал заниматься адвокатской практикой»?

Жан-Николя не надеялся получить ответы. Его истинное недовольство сыном основывалось на другом. Почему, хотелось бы знать, Камиль так эмоционален? Откуда у него эта способность возбуждать остальных: волновать, смущать, сбивать с толку? Обычные разговоры в присутствии Камиля живо сворачивали не на ту дорожку и превращались в горячие споры. Общественным условиям угрожала опасность. Придется следить, рассуждал Демулен, чтобы он не оставался наедине с другими людьми.

Никто больше не говорил, что его сын – маленький Годар. Де Вьефвили тоже не рвались признавать его своим. Братья Камиля росли и крепили, его сестры расцветали, но когда на пороге возникал старший сын мэтра Демулена, выглядел он подкидышем.

Возможно, когда Камиль повзрослеет, придется ему приплачивать, чтобы держался подальше от родного дома.

Кое-кто из французских аристократов обнаружил, что их лучшие друзья – адвокаты. Доходы от земель неизменно снижаются, цены растут, бедные, а равно и богатые, становятся беднее. Настает время защитить привилегии, которые в последние годы только ущемлялись. Подати не платятся из поколения в поколение – щедрым и великодушным господам пора проявить строгость. Опять-таки предки допустили, что часть их владений стала считаться «общинными землями», а ведь такого термина даже нет в законе.

То были золотые денечки для Жана-Николя. И хотя семейные заботы его угнетали, в профессии он процветал. Мэтр Демулен не был лизоблюдом, он обладал хорошо развитым чувством собственного достоинства и, более того, мыслил весьма либерально, защищая реформы в большинстве сфер общественной жизни. После обеда он читал Дидро, а также подписался на женевское издание «Энциклопедии». Однако большую часть времени отнимала возня с реестрами прав и отслеживание документов на собственность. Два старых железных сундука принесли в кабинет мэтра Демулена, и когда их открыли, в воздухе повис легкий душок плесени.

– Так пахнет тирания, – заметил Камиль.

Его отец, отложив текущие дела, рылся в сундуках, осторожно извлекая на свет пожелтевшие страницы. Клеман, его младшенький, решил, что отец ищет сокровища.

Принц де Конде, знатнейший из дворян провинции, лично посетил мэтра Демулена в его высоком белом, забитом книгами и очень скромном доме на Плас-д'Арм. Обычно он посылал к адвокатам управляющего, но принцу захотелось увидеть человека, который так безупречно справлялся с его делами. А кроме того, под впечатлением визита столь высокой особы тот наверняка не осмелится прислать ему счет.

Осенний день клонился к вечеру. Согревая в ладони бокал с выдержанным темно-красным вином и прекрасно сознавая, какую честь оказывает адвокату своим визитом, принц сидел в свете канделябров, а в углах гостиной затаились неверные тени.

– Чего вы, простолюдины, хотите? – спросил он.

– Чего мы хотим? – Мэтр Демулен задумался – так сразу и не ответишь. – Люди, подобные мне, лица свободных профессий, хотели бы большей... как сказать... иными словами, мы хотели бы иметь возможность служить. – Никакого лукавства, рассуждал он. При старом короле аристократы никогда не становились министрами, но все министры со временем становились аристократами. – Равенства перед судом. Равенства налогообложения.

Конде поднял бровь:

– Вы хотите, чтобы аристократы платили ваши налоги?

– Нет, монсеньор, мы хотим, чтобы вы платили свои.

– Я плачу подушный налог, – сказал Конде. – А все эти разговоры о налоге на имущество – вздор. Что еще?

Демулен взмахнул рукой, надеясь, что жест вышел достаточно красноречивым.

– Равных возможностей. Больше ничего. Равных возможностей преуспеть на военном или церковном поприще... – Проще не скажешь, подумал мэтр Демулен. Я разжевал ему все.

– Равных возможностей? Это противно природе.

– Другие народы этого не стесняются. Посмотрите на англичан. Человеку несвойственно жить в угнетении.

– В угнетении? Вы чувствуете себя угнетенными?

– Чувствую, и если я это чувствую, то каково приходится беднякам?

– Бедняки ничего не чувствуют, – заявил Конде. – Не будьте сентиментальны. Их не интересует искусство правления, им лишь бы набить утробу.

– Даже набив утробу...

– А вам нет никакого дела до бедняков, вы вспоминаете о них только ради красного словца. Вы, адвокаты, выторговываете уступки для себя.

– Дело не в уступках. Я говорю о естественных правах человеческого существа.

– Красивые слова. И вы переходите границы, произнося их при мне.

– Свобода мысли, свобода речей – разве это так много?

– Чертовски много, и вам это прекрасно известно, – хмуро заметил Конде. – А самое неприятное, что я слышу это от тех, кто мне ровня. Изящные идеи социального переустройства. Привлекательные планы построения «общества разума». Людовик слаб. Позвольте ему пойти у них на поводу, тут же объявится новый Кромвель, и дело кончится революцией. А революция – это вам не чаепитие.

– Однако ж это не обязательно кончится так, – сказал Жан-Николя. Легкое движение теней в углу привлекло его взгляд. – Господи Иисусе, что ты здесь делаешь?

– Подслушиваю, – ответил Камиль. – Вы могли бы заметить раньше.

Мэтр Демулен побагровел.

– Мой сын, – промолвил он.

Принц кивнул.

Камиль приблизился к кругу света от канделябра.

– Услышал что-то полезное? – полюбопытствовал принц. Судя по тону, он явно недооценил возраст Камилля. – И как тебе удалось себя не выдать?

– Вероятно, у меня кровь застыла в жилах при виде вас, – ответил Камиль, смерив принца взглядом палача, который примеряется к жертве. – Разумеется, будет революция. Вы создаете нацию Кромвелей. Впрочем, мы пойдем дальше. Через пятнадцать лет вам, тиранам и паразитам, придет конец. Мы учредим республику в римском духе.

– Он учится в Париже, – сокрушенно заметил мэтр Демулен. – Там и нахватался этих идей.

– И думает, что по малолетству не отвечает за свои слова? – Принц повернулся к Камиллю. – Что вы себе позволяете?

– Это кульминация вашего визита, монсеньор. Вы решили посмотреть, как живет ваш образованный раб, и обменяться с ним банальностями. – Камилля била крупная дрожь. – Вы мне отвратительны.

– Чего ради я сижу здесь и терплю оскорбления? – пробормотал Конде. – Демулен, убейте с дороги этого вашего сына.

Принц поискал глазами, куда поставить бокал, и, не найдя ничего лучшего, сунул его в руки хозяину. Мэтр Демулен последовал за гостем на лестницу.

– Монсеньор...

– Мне не следовало унижаться, нанося вам визит. Надо было прислать управляющего.

– Я очень сожалею.

– Незачем тратить слова. Я выше оскорблений.

– Могу я по-прежнему вести ваши дела?

– Вы можете по-прежнему вести мои дела.

– Вы действительно не оскорблены?

– Как я могу быть оскорблен тем, что выходит за всякие рамки?

За дверью маленькая свита быстро собралась в дорогу. Конде обернулся:

– Я сказал, прочь с дороги, и я не шутил.

Когда принц уехал, Жан-Николя поднялся по лестнице и вошел в кабинет.

– Камиль? – преувеличенно спокойно промолвил мэтр Демулен и глубоко вдохнул.

Молчание длилось. Последние свечи догорели, месяц бледным вопросительным знаком повис над площадью. Камиль снова спрятался в тень, словно ему там спокойнее.

– Какой глупый и бессмысленный разговор вы вели, – сказал он наконец. – Одни банальности. Он не умственно отсталый. Они не дураки, по крайней мере не все.

– Зачем ты сообщаешь это мне? Как будто я не бываю в обществе.

– Мне понравилось, как он сказал «этот ваш сын». Словно иметь меня сыном ненормально.

– Возможно, он прав. Будь я человеком древности, я бы сразу после рождения бросил тебя где-нибудь на склоне холма – выживай, как знаешь.

– Возможно, меня пригрела бы волчица, – сказал Камиль.

– Камиль, когда ты говорил с принцем, ты не заикался.

– Я... Не переживай, это временно.

– Я думал, он тебя ударит.

– Я тоже.

– Жалко, что не ударил. Если будешь продолжать в том же духе, мое сердце остановится... – Жан-Николя прищелкнул пальцами. – Вот так.

– Нет. – Камиль улыбнулся. – Ты здоров. Доктор сказал, у тебя только камни в почках.

Внезапно Жану-Николя захотелось обнять сына – необъяснимое желание, которое он тут же подавил.

– Ты оскорбил его, – сказал Жан-Николя. – Ты испортил свое будущее. Самое ужасное – то, как ты на него смотрел. Как при этом молчал.

– Да, – задумчиво промолвил Камиль. – Молчаливое презрение – это по моей части. Я практикуюсь, что неудивительно.

Камиль сел в отцовское кресло, готовясь продолжать разговор, и медленно отвел волосы со лба.

Жан-Николя считал себя человеком ледяного достоинства, в высшей степени неколебимым и правильным. Ему хотелось заорать во весь голос, вышибить стекло, выпрыгнуть из окна и разбиться насмерть о мостовую.

Принц скоро забудет обиду, спеша поскорее добраться до Версаля.

Сегодня все сходят с ума по фараону. Король фараон запрещает, ибо проигрыши слишком велики. Однако король привык ложиться рано, и когда он удаляется, ставки за столом королевы удваиваются.

Бедняжка, зовет его королева.

Королева – законодательница мод. Ее платье – около ста пятидесяти новых каждый год – шьет Роза Бертен, дорогая, но незаменимая модистка с улицы Сент-Оноре. Придворные платья – настоящие переносные тюрьмы с корсетами, широкими обручами, шлейфами, плотным шелком и жесткой отделкой. Искусство куафера переплелось с мастерством шляпника и подвержено капризам сиюминутной моды. Войска Джорджа Вашингтона в боевом порядке покачиваются на напояженных башнях, на пудренных локонах вырастают сады в свободном английском стиле. На самом деле королева не прочь отказаться от этой помпезности и учредить век свободы: тончайшего газа, мягкого муслина, незатейливых ленточек и летящих юбок. Удивительно, впрочем, что эта простота, подаваемая как изысканность, стоит ничуть не меньше бархата и атласа. Королева обожает все естественное – в одежде и этикете. Но еще больше она обожает бриллианты. Ее сделки с парижской ювелирной конторой «Бомер и Бассанж» становятся причиной несусветного скандала. В своих покоях королева швыряет мебель, срывает портьеры, заказывает новые – затем переезжает в другие покои.

– Меня пугает скука, – говорит она.

У королевы нет детей. Памфлеты, которые гуляют по Парижу, обвиняют ее в беспорядочных связях с придворными и лесбийских сношениях с фаворитками. В 1776 году, когда королева появляется в своей ложе в опере, ее встречает враждебное молчание. Она не понимает, за что ее не любят. Говорят, из-за дверей королевской спальни доносятся ее крики: «Что я им сделала, что?» Королева недоумевает: стоит ли возмущаться ничтожными радостями, которыми балует себя слабая женщина, когда все вокруг по-настоящему плохо?

Ее брат-император пишет из Вены: «В конце концов, так долго продолжаться не может... Революция будет жестокой, и, возможно, она станет делом ваших собственных рук».

В 1778 году в Париж вернулся восьмидесятичетырехлетний Вольтер. Он был бледен, как труп, и харкал кровью. Вольтер ехал по городу в синей карете с золотыми звездами. Восторженные толпы скандировали: «Да здравствует Вольтер!»

– На мою казнь пришло бы не меньше, – заметил старик.

Академия собралась его почтить: пришел Франклин, пришел Дидро. Во время представления его трагедии «Ирина» актеры короновали бюст автора лавровым венком, и переполненная галерея разразилась восторженными криками.

В мае Вольтер умер. Париж отказал ему в христианском погребении, к тому же опасались, что его враги осквернят останки. Поэтому почившего вывезли из города ночью. Труп усадили в карету, в свете полной луны он выглядел как живой.

Некто Неккер, протестант, миллионер из Швейцарии и банкир, был назначен министром финансов и главным кудесником двора. Только он знал, как удержать на плаву корабль государства. Секрет, говорил Неккер, в том, чтобы брать в долг. Высокие налоги и сокращение расходов покажут Европе, что Франция на коленях. Займы, напротив, свидетельствуют, что вы смотрите вперед, что вы сильны и уверены в себе. Демонстрируя уверенность, вы ее обретаете. Чем больше вы занимаете, тем большего успеха достигнете. Мсье Неккер был оптимистом.

Какое-то время это работало. Когда в мае 1781 года реакционная антипротестантская клика скинула министра, страна ощутила ностальгию по ушедшим сытым годам. Но король почувствовал облегчение и отпраздновал событие покупкой Антуанетте новых бриллиантов.

К тому времени Жорж-Жак Дантон уже решил, что едет в Париж.

Решение далось ему нелегко. Как будто, сказала Анна-Мадлен, ты отправляешься в Америку или на Луну. На семейных советах все дядья по очереди с важным видом излагали свою позицию. Священником ему не быть. Год или два он набирался опыта у них в конторах и в конторах их друзей. Это достойная семейная традиция. И все же, если он уверен в своем решении...

Матери будет его не хватать, но они с сыном давно уже не близки. Она женщина необразованная, намеренно ограничившая свой кругозор. В Арси-сюр-Об есть лишь одно производство: шитье ночных чепцов – как объяснить ей, что сын воспринимает это как личное оскорбление?

В Париже он станет получать скромное жалованье в конторе, где будет учиться, затем ему понадобятся деньги для открытия собственной. Изобретения отчима тяжким бременем легли на семейный бюджет, особенно его новый ткацкий станок. Оглушенные грохотом и скрипом танцующих челноков, пасынок и отчим стояли в сарае и разглядывали механизм в ожидании, когда нить снова порвется. Мсье Дантон, умерший восемнадцать лет назад, при жизни отложил для сына небольшую сумму.

– Можешь использовать эти деньги для своих изобретений, – сказал отчиму Жорж-Жак. – Поверь, мне действительно легче будет начать с нуля.

Все лето он наносил визиты родственникам. Нахальный и бойкий юнец, который уезжает в Париж и никогда не вернется, разве что через много лет, успешным незнакомцем. Поэтому эти визиты так важны, никто не должен быть обойден, ни дальняя кузина, ни вдова двоюродного деда. В их холодных, похожих друг на друга усадьбах он рассказывал, чего хочет достичь в жизни, делился планами. Проводил долгие вечера в гостиных вдов и старых дев, и пожилые дамы кивали в скудном солнечном свете, а пыль багряным нимбом кружилась вокруг их склоненных голов. Он не лез за словом в карман, но с каждым визитом чувствовал, что уходит от них все дальше.

Остался последний визит – навестить Мари-Сесиль в монастыре. Он следовал за прямой спиной старшей послушницы по коридору, где стояла мертвая тишина, чувствуя себя несуразно большим, слишком мужественным, обреченным вечно оправдываться. Монахини, шелестя черными одеяниями, скользили мимо, их глаза были опущены долу, ладони спрятаны в рукавах. Он не хотел, чтобы его сестра здесь жила. Лучше умереть, думал он, чем родиться женщиной.

Монахиня остановилась и указала ему на дверь.

– Весьма неудобно, что приемная расположена внутри монастыря, – сказала она. – Когда появятся деньги, мы построим у ворот новое здание.

– Я думал, ваш монастырь богат, сестра.

– Вас ввели в заблуждение. – Монахиня фыркнула. – Приданого некоторых послушниц хватает только на ткань для рясы.

Мари-Сесиль сидела за решеткой. Не прикоснуться, не поцеловать. Она выглядела бледной, – возможно, ей не шла суровая белизна покрывала. Ее голубые глаза, маленькие и спокойные, были совсем как его глаза.

Они беседовали, чувствуя смущение и скованность. Он пересказывал семейные новости, сообщал о своих планах.

– Ты приедешь на мое пострижение?

– Да, – соврал он, – если смогу.

– Париж – очень большой город. Тебе там не будет одиноко?

– Вряд ли.

Она пристально посмотрела на него:

– Чего ты хочешь от жизни?

– Преуспеть.

– Что это значит?

– Добиться положения, заработать состояние, заставить людей меня уважать. Прости, я не вижу смысла лукавить. Я просто хочу кем-то стать.

– Любой человек кто-то. В глазах Божьих.

– В монастыре ты заделалась набожной.

Они рассмеялись.

– Ты задумываешься о спасении души, строя планы на будущее?

– К чему мне самому заботиться о душе, когда у меня есть чудесная сестренка-монахиня, которой больше нечем заняться, как молиться обо мне с утра до вечера? – Он поднял глаза. – А ты, ты... довольна?

Она вздохнула:

– Подумай о материальной стороне дела, Жорж-Жак. Замужество стоит денег. В семье и без меня хватает дочерей. Мне кажется, остальные были только рады, когда я вызвалась. Но теперь, когда я здесь, я счастлива. Я нахожу в этом утешение, хоть и не жду, что ты меня поймешь. Ты не создан для размеренной жизни, Жорж-Жак.

В округе было немало крестьян, которых вполне устроило бы скромное приданое, принесенное сестрой в монастырь, и которые охотно взяли бы в жены крепкую и покладистую девушку. Наверняка нашелся бы мужчина, который трудился бы в поте лица, не обижал бы жену и завел с ней детишек. Жорж-Жак считал, что все женщины должны иметь детей.

– А ты еще можешь отказаться? – спросил он. – Если я заработаю денег, я позабочусь о тебе. Найдем тебе мужа, а не хочешь мужа, я сам буду тебя содержать.

Она подняла руку:

– Разве ты не слышал? Я счастлива. И всем довольна.

– Куда делся твой румянец? – мягко промолвил он. – Меня это печалит.

Она отвела глаза:

– Лучше уходи, пока ты меня совсем не расстроил. Я часто вспоминаю дни, которые мы проводили вместе в полях. Прошлого не вернуть. Храни тебя Господь.

– И тебя.

Ты как хочешь, подумал он, а я не стану на это рассчитывать.

### Глава 3

## У мэтра Вино (1780)

Сэр Фрэнсис Бердетт, британский посол, о Париже:

Это самый дурно спланированный и построенный, самый вонючий город, какой только можно вообразить: что до его жителей, то они в десять раз грязнее жителей Эдинбурга.

Жорж-Жак вышел из кареты в Кур-де-Мессажери. Поездка выдалась незабываемая. С ним в карете ехала некая Франсуаза-Жюли Дюоттуар из Труа. Они прежде не встречались – он бы такую не забыл, – однако Жорж-Жак кое-что про нее слышал. Она была из тех девушек, что заставляют его сестер поджимать губки. Неудивительно: Франсуаза-Жюли хороша собой, бойка, у нее есть деньги, ее родители умерли, и половину года она проводит в Париже. В дороге она развлекала его, передразнивая своих тетушек: «Молодость пролетит, а доброе имя все равно что деньги в банке, пора остепениться, осесть в Труа и найти себе мужа, пока ты окончательно не загубила свою репутацию». Можно подумать, в ближайшее время мужчины куда-то денутся, недоумевала Франсуаза-Жюли.

Он и не мечтал, что на него обратит внимание такая девушка. Она кокетничала с ним, как с любым другим, и ей не было никакого дела до его шрама. Словно изо рта у нее выдернули кляп, словно предыдущие полгода она просидела за решеткой. Слова извергались из нее потоком, пока она рассказывала ему про город, про себя и своих друзей. Когда карета остановилась, она, не дожидаясь, когда он подаст ей руку, спрыгнула на мостовую.

В то же мгновение на него обрушился крик. Конюхи, которые должны присмотреть за лошадьми, затеяли ссору. Это первое, что он слышит в Париже, – отборная брань, сдобренная грубым столичным акцентом.

Франсуаза-Жюли стояла рядом со своими саквояжами, цепляясь за его руку и радуясь возвращению в столицу.

– Что мне здесь нравится, так это постоянные перемены. Все время что-нибудь сносят и строят что-то взамен.

Она нацарапала свой адрес на клочке бумаги и сунула Жорж-Жаку в карман.

– Помочь вам? – спросил он. – Проводить вас до дома?

– Лучше позаботьтесь о себе. Я здесь живу, я справлюсь. – Она развернулась, распорядилась багажом, вынула несколько монет. – Вы же знаете, куда идти? Жду вас не позднее следующей недели. Если не объявитесь, начну на вас охотиться.

Она подхватила самый легкий из своих саквояжей, внезапно приникла к Жорж-Жаку, подтянулась и поцеловала его в щеку. И вот она уже скрылась в толпе.

У Жорж-Жака был один саквояж, забитый книгами. Он поднял его, снова опустил, роясь в кармане в поисках клочка бумаги, на котором рукой отчима было написано:

«Черный дом, улица Жоффруа Л'Анье, приход Сен-Жерве».

Со всех сторон звонили колокола. Он чертыхнулся про себя. Сколько церквей в этом городе, и как, ради всего святого, он отличит колокола прихода Сен-Жерве? Жорж-Жак смял клочок бумаги в ладони и отбросил в сторону.

Половина пешеходов не знали дороги. Вы могли до скончания века плутать по здешним переулкам и задним дворам. Улицы без имени, засыпанные камнем строительные площадки, жаровни посреди дороги. Старики кашляли и харкали, женщины поддегивали юбки, пробираясь по грязи, дети бегали голышом, как в деревне. Это было и похоже на Труа, и не похоже.

В кармане у него лежало рекомендательное письмо к адвокату с острова Сен-Луи по фамилии Вино. Сегодня придется найти ночлег, а завтра заняться делами.

Вокруг уличного торговца снадобьями от зубной боли собралась разгневанная толпа.

– Обманщик! – вопила женщина. – Прогнать его – и дело с концом!

Прежде чем отправиться по своим делам, Жорж-Жак успел заметить ее злые, безумные, городские глаза.

У мэтра Вино были пухлые ручки, он был толст, а задирист, как пожилой старшеклас-ник.

– Что ж, – протянул он, – мы могли бы... могли бы дать вам шанс... но...

Это я могу дать шанс вам, подумал Жорж-Жак.

– Одно видно сразу, почерк у вас отвратительный. И чему только нынче учат молодежь?

Полагаю, и латынь оставляет желать лучшего.

– Мэтр Вино, – сказал Жорж-Жак, – я прослужил писарем два года. Неужели вы думаете, я приехал сюда, чтобы переписывать чужие письма?

Мэтр Вино изумленно воззрился на него.

– Я в совершенстве владею латынью и греческим. Если хотите знать, я также свободно говорю по-английски и могу объясниться по-итальянски.

– Где вы учились?

– Я самоучка.

– Как это необычно. Когда нам приходится иметь дела с иностранцами, мы нанимаем переводчика. – Он оглядел Дантона. – Любите путешествовать?

– Если представится возможность. Я хотел бы побывать в Англии.

– Восхищаетесь англичанами? Их государственной системой?

– Хотелось бы, чтобы и у нас был такой парламент. Я говорю о настоящем представи-тельском органе, не с продажей мест, как наш. А еще о разделении властей на исполнительную и законодательную, о чем нам приходится только мечтать.

– А теперь послушайте меня, – произнес мэтр Вино. – Я скажу раз и больше повторяться не стану. Не стану также оспаривать ваших суждений, которые вы, вероятно, считаете весьма оригинальными. – Мэтр Вино слегка задыхался от возбуждения. – Так вот, это давно общее место, даже мой кучер так думает. Меня не заботит моральный облик моих секретарей, и к мессе я никого силком не тащу, но этот город – опасное место. Здесь в ходу книги, не видевшие печати цензора, а в кофейнях – даже фешенебельных – ведутся опасные разговоры. Я не стану требовать от вас невозможного – выбросить все это из головы, но потребую быть разборчивее в связях. Я не потерплю крамолы в моем доме. Не воображайте, будто все, сказанное вами наедине или по секрету, невозможно записать и донести властям. И вот еще что, – добавил мэтр Вино, кивком давая собеседнику понять, что оценил его смелость, – может быть, вы кое-чего и достигли в нашем деле, но молодому человеку неплохо бы научиться держать язык за зубами.

– Я понял, мсье Вино, – смиренно отвечал Жорж-Жак.

В дверь кто-то заглянул:

– Мэтр Перрен спрашивает, вы берете к себе сына Жана-Николя?

– О боже, – простонал мэтр Вино, – вы видели сына Жана-Николя? Я хочу сказать, имели удовольствие с ним беседовать?

– Нет, но вы же понимаете, сын старого приятеля... И говорят, он весьма умен.

– Вот как? Однако о нем говорят и другое. Нет, я беру этого дерзкого юношу из Труа. Он не стесняется громогласно высказывать свои возмутительные идеи, но уж лучше так, чем терпеть рядом с собой юного Демулена.

– Не волнуйтесь, его возьмет Перрен.

– Ну, этого следовало ждать. Неужто мэтр Демулен не слышал, что люди толкуют о Перрене? Впрочем, что взять с такого болвана. Что ж, пусть Перрен пеняет на себя. Живи и дай жить другим, так я считаю. Мэтр Перрен мой старинный коллега, большой специалист в налоговом праве, – пояснил он Дантону. – Ходят слухи, что он содомит, но меня это не касается.

– Частные грешки, – сказал Дантон.

– Вот именно. – Мэтр Вино поднял глаза. – А вы, я вижу, усвоили урок?

– Да, мэтр Вино. Должен признаться, вы умеете объяснять.

– Отлично. Я думаю, с таким почерком нет смысла держать вас в конторе, поэтому начните с другого конца. Побегайте по судам, как мы выражаемся. Поучастуйте в делах, которые ведет наша контора. День там, день тут. Суд Королевской скамьи, Шатле. Интересуетесь каноническим правом? Мы такие дела не ведем, но я готов сдать вас в аренду тому, кто ведет. Я советую вам, – мэтр Вино сделал паузу, – не слишком торопиться. Стройте медленно. Любой, кто трудится изо дня в день, добивается успеха, от вас требуется только усердие. Еще вам нужны связи, можете рассчитывать на меня. Составьте *жизненный план*. В вашей провинции вам найдется чем заняться. Лет через пять из вас выйдет толк.

– Я хочу сделать карьеру в Париже.

Мэтр Вино улыбнулся:

– Все юнцы так говорят. Что ж, начните завтра, а там посмотрим.

Они чинно, совсем как англичане, пожали друг другу руки. Жорж-Жак спустился по лестнице на улицу. Из головы не выходила Франсуаза-Жюли Дюоттуар. У него был ее адрес, на улице Тисандери. Третий этаж, сказала она, не слишком роскошно, зато сама себе хозяйка. Он гадал, ляжет ли она с ним в постель. Весьма вероятно. То, что казалось невысказанным в Труа, было возможно здесь.

Весь день и далеко за полночь тесные улочки бурлили. Кареты притискивали Жорж-Жака к стенам. Гербы владельцев отливали грубыми геральдическими цветами, лошади с бархатными носами изящно окунали копыта в грязь, пассажиры, откинувшись на спинки скамей, задумчиво смотрели вдаль. На мостах и перекрестках кареты, подводы и овощные тележки сталкивались и ломали колеса. Ливрейные лакеи на запятках обменивались оскорблениями с угольщиками и булочниками из предместий. Последствия несчастных случаев разрешались быстро, под равнодушным взглядом полицейских, согласно установленным тарифам за руки, ноги и летальный исход.

На Новом мосту держали свои будки писцы, торговцы раскладывали товары на шатких прилавках и прямо на земле. Он покопался в корзинах с подержанными книгами: сентиментальный роман, несколько томов Ариосто. Хрустящая нетронутая книга, принадлежавшая перу некоего Жан-Поля Марата и изданная в Эдинбурге, носила название «Цепи рабства». Он купил полдюжины томиков по два су за штуку. Бродячие собаки сбивались в стаи и рыскали по рынку.

Каждый второй прохожий был припорошен каменной пылью и походил на строителя. Город выдергивал из земли свои корни. Целые кварталы сносили подчистую и строили на их месте новые. Кучки зевак глазели на сложные или опасные работы. Строителей нанимали на сезон и платили им сущие гроши. За быстроту полагалась премия, поэтому строительство шло пугающими темпами, воздух звенел проклятиями, пот градом катился по тощим спинам рабочих. Как там сказал мэтр Вино? «Стройте медленно».

Уличный певец с некогда сильным, а теперь дребезжащим баритоном и жуткой вывороченной глазницей держал плакат: «Герой освобождения Америки». В песне королеву обвиняли в грехах, о которых слыхом не слыхивали в Арси-сюр-Об. В Люксембургском саду хорошенькая блондиночка смерила его взглядом с головы до ног и мысленно отвергла.

Он направился на улицу Сент-Антуан, постоял перед Бастилией, разглядывая все ее восемь башен. Он ожидал увидеть стены, похожие на морские утесы, но самая большая из башен была не выше семидесяти пяти – восьмидесяти футов.

– А стены у нее шириной в восемь футов, – заметил прохожий.

– Я думал, она больше.

– Куда уж больше. Ты же не захотел бы оказаться внутри? Оттуда не возвращаются.

– Вы здесь живете?

– Мы, местные, всё про нее знаем. В подземных казематах по стенам течет вода, а по полу шныряют крысы.

– Про крыс я слышал.

– А еще у них есть камеры под крышей, тоже не сахар. Летом пекло, зимой стужа. Кому как повезет. Зависит от вашего положения. В некоторых камерах есть кровати с балдахинами, а еще узникам разрешают держать котов, чтобы изводить крыс и мышей.

– А чем узников кормят?

– По-разному. Опять же зависит от вашего положения. Каждому свое. Мой сосед несколько лет назад клялся, что видел, как узники играли в бильярд. Люди делятся на везунчиков и всех остальных.

Жорж-Жак смотрит вверх, и его глаза оскорблены зрелищем. Тюрьма неприступна, нет никаких сомнений. Эти люди живут в тени ее стен – варят пиво, обтягивают кресла шелками – и постепенно перестают ее видеть. Она есть, и одновременно ее нет. Важна не высота стен, а картины у тебя в голове: узники сходят с ума от одиночества, каменные плиты залиты кровью, младенцы рождаются на соломе. Слова случайного прохожего не изменят твоих суждений. Неужто нет ничего святого? Стоки красильни окрасили реку желтым и синим.

Когда наступил вечер, служащие заспешили по домам, ювелиры с площади Дофина загремели ключами, запирая бриллианты до утра. Ни бредущей домой скотины, ни сумеречного света над полями, отбрось сантименты. На улице Сен-Жак братство сапожников устроило ночную попойку. На третьем этаже дома на улице Тисандери молодая женщина впустила нового любовника и сняла платье. В пустой конторе на острове Сен-Луи сын мэтра Демулена был ошеломлен неуклюжим натиском нового патрона. Мельники, трудившиеся пятнадцать часов при тусклом свете, терли красные глаза и молились за семьи, оставшиеся в деревне. Засовы были задвинуты, светильники зажжены. Актеры в ожидании представления раскрасили лица.

## Часть 2

*Мы заметно продвигаемся вперед лишь тогда, когда грустим – когда, неудовлетворенные реальным миром, вынуждены создавать для себя более сносный.*

*Жан-Мари Эро де Сешель. Теория честолюбия*

### Глава 1 Теория честолюбия (1784–1787)

Кафе «Парнас» было известно своим завсегдатаям как кафе «Эколь», так как выходило на одноименную набережную. Из окон виднелась река, Новый мост, за ними – башни Дворца Сите. Кафе принадлежало мсье Шарпантье, служащему податного ведомства, и было его отдушиной и финансовым подспорьем. Когда в судебных заседаниях объявлялся перерыв и кафе наполняла толпа, он сам, перекинув салфетку через руку, обслуживал посетителей. Когда поток иссякал, сидел за столиком с бокалом вина, обсуждая с завсегдатаями судебские сплетни. И хотя разговоры в кафе «Эколь» по большей части касались скучных правовых материй, иногда общество мужчин скрашивалось живительным дамским присутствием. И тогда над мраморными столешницами скользили комплименты, приправленные сдержанным остроумием.

До замужества супруга мсье Шарпантье Анжелика носила фамилию Сольдини. Приятно заметить, что под невозмутимой наружностью парижанки до сих пор пряталась итальянская страсть. Анжелика и впрямь сохранила темпераментную скороговорку, присущую ее нации, черные платья, в которых было что-то неуловимо чужеземное, набожность и чувственность, зависящие от календаря, но под этими располагающими чертами скрывалась благоразумная и расчетливая дама с характером тверже гранита. Она бывала в кафе каждый день – цветущая матрона с бархатным взглядом. Порой кто-то из посетителей с изящным поклоном подносил ей сонет. «Я прочту позже», – говорила она, аккуратно складывала листок и позволяла себе одарить поэта томным взором.

Ее дочери Антуанетте-Габриэль было семнадцать, когда она впервые появилась в кафе. Ростом она превосходила мать, девушка с прекрасным лбом и серьезными карими глазами. Белозубая улыбка вспыхивала – и девушка тут же отворачивалась, словно ее веселье не предназначалось для чужих глаз. Блестящие от долгого расчесывания каштановые волосы ниспадали на спину, словно меховой капюшон, причудливые и почти живые, дополнительный источник тепла в холодные дни.

В противоположность матери Габриэль не отличалась изяществом и аккуратностью. Шпильки, которыми она закалывала прическу, не могли удержать тяжесть ее волос. В помещении она двигалась с той же свободой, что и на улице. Шумно вздыхала, с легкостью заливалась румянцем. Ее речь была сбивчивой, знания обрывочными, воспитание католическим и своеобразным. Габриэль обладала грубым натиском прачки, а ее кожа была нежна, словно шелк.

Мсье Шарпантье привел дочь в кафе, чтобы показать мужчинам, которые могли бы составить ей партию. Один из его сыновей, Антуан, изучал право, другой, Виктор, был женат и успешно трудился нотариусом. Оставалось пристроить дочь. Разумеется, за адвоката. Габриэль легко покорилась своей участи, лишь немного сожалея о предстоящих годах, наполненных исками, завещаниями и закладными. Вероятно, муж будет на несколько лет старше. Желательно, чтобы он был хорош собой и занимал высокий пост. А также щедр, заботлив и, чего

греха таить, знаменит. Поэтому, когда однажды дверь кафе открылась, впуская мэтра д'Антонна, малоизвестного провинциального адвоката, Габриэль не признала будущего мужа.

Вскоре после того, как Жорж-Жак прибыл в столицу, Франция радовалась новому генеральному контролеру финансов мсье Жюли де Флери, который прославился тем, что на десять процентов повысил продуктовый налог. Финансы самого Жорж-Жака пребывали в расстройстве, но он не унывал, находя это естественным – будет о чем вспомнить, когда разбогатеет.

Мэтр Вино загружал его работой, но обещания держал.

– Назовитесь д'Антоном, – посоветовал он Жорж-Жаку. – Это производит впечатление.

– На кого?

– Разумеется, не на аристократов, однако на ваш век хватит незнатных клиентов.

– А если они узнают, что мой титул фальшивка?

На что мэтр Вино ответил:

– Зато видны ваши устремления. Ставьте перед собой ясные цели, мальчик мой, не вздумайте нас разочаровать.

Когда пришло время держать экзамен на адвоката, мэтр Вино посоветовал университет Реймса. Семь дней, недлинный список литературы, нестрогие экзаменаторы. Мэтр Вино попытался вспомнить хоть кого-нибудь, провалившего экзамен в Реймсе, но так и не преуспел. «Разумеется, – заметил он, – с вашими талантами вы сдали бы и в Париже, однако...» Он запнулся, махнул пухлой ладошкой и издал звук, выражающий презрение к тем, кто, подобно мэтру Перрену, впустую переводит интеллектуальные усилия. Д'Антон поехал в Реймс, сдал экзамен и был допущен вести дела в Высшем суде, или Парижском парламенте, став судебным адвокатом самого низкого ранга. Дальнейшее продвижение по службе зависело не столько от его способностей, сколько от содержимого кошелька.

Став адвокатом, он покинул остров Сен-Луи ради других съемных комнат и контор разной степени комфорта и дел разной степени важности. Жорж-Жак предпочитал браться за дела определенного типа, связанные с правами собственности мелкого дворянства. Авось какой-нибудь карьерист, довольный тем, как он привел в порядок его наследственные права, порекомендует его приятелям. Детали, порой запутанные, но не решающие, никогда не поглощали его целиком. Выработав победную стратегию, Жорж-Жак быстро утрачивал к делу интерес. Возможно, он намеренно брал дела, которые не мешали ему думать о другом? В те дни он не был склонен к самокопанию. Его слегка удивило, а потом разозлило, что окружающие, как правило, глупее его. Лентяи вроде Вино карабкались вверх, к должностям и богатству. «Всего доброго, – говорили они. – Неделя выдалась неплохая. До вторника». Он наблюдал, как они разъезжаются на выходные в места, которые парижане считают лоном природы. Когда-нибудь он тоже купит себе скромный домик, пару акров земли. Может быть, там его неугомный разум обретет покой.

Жорж-Жак знал, чего хочет. Денег, выгодной партии, порядка в делах. Чтобы сделать карьеру, требовался капитал. Двадцати восьми лет от роду, он был сложен как разносчик угля. Его трудно было представить без шрамов, но не будь их, он был бы чертовски привлекательным мужчиной. Он научился бегло болтать по-итальянски, беседуя с Анжеликой, ибо заглядывал в кафе всякий раз, как в судах слушались его дела. Чтобы вознаградить его за изуродованное лицо, Господь даровал ему голос – сильный, звучный, хорошо поставленный. Голос, от которого у женщин по спине бежали мурашки. Он часто вспоминал поэта-лауреата и пользовался его советом, вытягивая звук откуда-то из-под ребер. Голос был еще далек от совершенства: ему не хватало звучности и красок, но сомневаться в его полезности не приходилось.

Красота – еще не все, рассуждала Габриэль. Не говоря уж о деньгах. Она многое передумала. Однако в сравнении с этим мужчиной любой другой завсегдатай кафе выглядел робким

ничтожеством. Зимой восемьдесят шестого она начала на него заглядываться, весной подарила ему робкий поцелуй сомкнутыми губами. И мсье Шарпантье считал, что у него есть будущее.

Беда в том, что в его положении карьеры не сделаешь, не выказывая должного подобострастия в адвокатской коллегии, что давалось ему с трудом. И порой внутренняя борьба отражалась на его грубом багровом лице.

Мэтр Демулен занимался адвокатской практикой вот уже шесть месяцев. Его выступления в суде были редки и, подобно многим редкостям, привлекали ценителей, которые со временем становились все более взыскательными и пресыщенными. За ним, словно за судейской знаменитостью, таскалась толпа студентов. Они наблюдали за тем, как развивается заикание Демулена и как он пытается побороть его, выходя из себя. Отмечали, как бесцеремонно он расправляется с фактами, как обращает банальную юридическую формулу в изречение какого-нибудь увенчанного тирана, чью крепость под силу сокрушить ему одному. Это был особый взгляд на мир с точки зрения червяка, который пытается ползти в другую сторону.

Сегодня рассматривалось дело о правах на выпас, о мелких тайных прецедентах, которым не суждено войти в историю юриспруденции. Мэтр Демулен сгреб в кучу бумаги, одарил судью ослепительной улыбкой и покинул зал судебных заседаний с проворством узника, которому не терпится вырваться из темницы.

– Стойте! – прокричал ему вслед д'Антон.

Демулен обернулся. Д'Антон поравнялся с ним.

– Вижу, вы не привыкли выигрывать. Вам положено сочувствовать адвокату проигравшей стороны.

– Зачем вам сочувствие? Вы получили гонорар. Пустое, давайте лучше прогуляемся – мне не терпится оказаться подальше отсюда.

Однако д'Антон было непросто сбить с толку.

– Это лицемерие, которого требуют приличия. Таковы правила.

Камиль Демулен с сомнением всмотрелся в собеседника.

– Так мне можно ликовать?

– Если вам угодно.

– Я могу сказать: «Чему только учат в конторе мэтра Вино?»

– Если хотите. Мое первое дело было похожим на ваше, – сказал д'Антон. – Я защищал пастуха от его сеньора.

– Однако с тех пор вы продвинулись далеко вперед.

– Вы хотите сказать, не с точки зрения морали. Вы отказались от гонорара? Думаю, да.

И я ненавижу вас за это.

Демулен встал как вкопанный.

– Неужели, мэтр д'Антон? Неужели ненавидите?

– Господи, да бросьте вы. Мне просто показалось, что вам по душе сантименты. Их в суде было предостаточно. Вы вели себя с судьей неуважительно, едва ли не оскорбительно.

– Я всегда так себя веду. И как вы заметили, редко выигрываю. Как думаете, д'Антон, я просто очень плохой адвокат или мне не везет с делами?

– Какая вам разница, что я думаю?

– Будьте беспристрастны.

– Как я могу быть беспристрастным? – Все вокруг только и говорят о тебе, подумал д'Антон. – Мне кажется, вам следует брать больше дел и вести себя более предсказуемо. И не отказываться от гонораров, как делают прочие адвокаты.

– Какое облегчение, – промолвил Камиль. – Лаконично и исчерпывающе. Сам мэтр Вино не сказал бы лучше. А сейчас вы похлопаете себя по растущему брюшку и заявите, что мне нужен *жизненный план*. Мы в курсе, что происходит в ваших конторах. У нас есть шпионы.

– Что не отменяет моей правоты.  
– Многие не могут позволить себе адвоката.  
– Да, но это проблема общественная, и вы за нее не отвечаете.  
– Ваш долг – помогать людям.  
– Неужели?  
– Да, хотя я предвижу возражения. Вероятно, если смотреть с философской точки зрения, следует оставить их догнивать, но если это происходит у вас под носом...

– За свой счет?

– Никто не позволит вам делать это за чужой.

Д'Антон всмотрелся в собеседника. Неужели он это всерьез, подумал он.

– Вы порицаете меня за то, что я пытаюсь заработать на жизнь.

– Заработать? Это не заработок, а мародерство, грабеж, и вам это прекрасно известно.

Полно, мэтр д'Антон, вы смешны, защищая эту корыстную позицию. Вы должны понимать, что, когда случится революция, вам придется выбирать, на чьей вы стороне.

– А революция позволит нам зарабатывать на жизнь?

– Мы должны надеяться. Однако мне пора, я должен быть у клиента. Завтра утром его повесят.

– Такое часто случается в вашей практике?

– Моих клиентов всегда вешают. Даже в имущественных и матримониальных спорах.

– И это как раз такой случай? Клиент вам обрадуется? Он может решить, что вы его подвели.

– Может. Кстати, это одно из вещественных дел благодати – посещать узников. Вам же это известно, д'Антон? Вас же воспитывали в лоне церкви? Я коллекционирую индульгенции и прочее в том же духе, поскольку считаю, что могу умереть в любое мгновение.

– Где ваш клиент?

– В Шатле.

– А вам не кажется, что вы идете в другую сторону?

Мэтр Демулен посмотрел на него так, словно д'Антон сморозил глупость.

– Видите ли, у меня свой маршрут. – Он помолчал. – Д'Антон, чего ради вы тратите время на пустую болтовню? Лучше бы суетились, зарабатывая себе имя.

– Может быть, я нуждаюсь в отдыхе от системы, – сказал д'Антон.

В черных светящихся глазах его коллеги была робость жертвы, измождение загнанного зверя.

Д'Антон подался вперед:

– Камиль, что вас гнетет?

У Демулена были широко расставленные глаза, и то, что д'Антон принимал за свойство характера, представляло собой лишь анатомическую причуду. Однако пройдет много лет, прежде чем он это поймет.

Это продолжилось; одна из бесед за полночь, прерываемая долгими паузами.

– И главное, – сказал д'Антон, – ради чего? – После наступления ночи и выпитого вина он чаще бывал настроен критически. – Провести жизнь, подыгрывая капризам и прихотям болвана вроде Вино.

– Так ваш *жизненный план* предполагает нечто большее?

– Всегда следует метить выше, в любом деле нужно стремиться к вершине.

– У меня тоже есть честолюбивые мечты, – сказал Камиль. – В школе я вечно мерз, а еда там была отвратительная. И я смирился, просто принимал холод как данность, а о еде порой забывал. Разумеется, если меня обогреть и накормить, я буду крайне признателен; думаю, в этом нет ничего зазорного – жить на широкую ногу, и чтобы в камине ревел огонь, и каждый

вечер ходить по званым ужинам. Разумеется, рассуждать так – проявление слабости. Еще мне хотелось бы просыпаться каждое утро рядом с любимой женщиной. Не хвататься за голову с криком: «Господи, что было этой ночью, как меня угораздило?»

– Не так уж много вы хотите, – сказал Жорж-Жак.

– Но стоит чего-нибудь достичь, тут же приходит отвращение. По крайней мере, так говорят. Я ничего не достиг, поэтому не мне судить.

– Вам следует решить, что делать дальше, Камиль.

– Отец хочет, чтобы после экзамена я вернулся домой и помогал ему с практикой. И снова он не... Меня хотят женить на кузине, это условлено много лет назад. Мы женимся на кузине, чтобы не расплыть семейные деньги.

– А вы против?

– Нет, не против. Какая разница, на ком жениться?

– Неужели? – Жорж-Жак думал совершенно иначе.

– Однако Роз-Флер придется переехать в Париж. Я не вернусь домой.

– Какая она?

– По правде сказать, толком не помню, мы редко виделись. А, вы насчет внешности?

Хорошенькая.

– Вам все равно, на ком жениться, но неужели вам не хочется влюбиться?

– Конечно хочется! Но невозможно жениться на всех сразу.

– А ваши родители? Какие они?

– В последнее время они не разговаривают. Это старинная семейная традиция – жениться на тех, кого вы на дух не переносите. Есть подозрение, что мой кузен Антуан, тот, что из Фукьенвилей, убил свою первую жену.

– И его судили за убийство?

– Дело ограничилось слухами. Для выдвижения обвинения не хватило доказательств. Антуан сам адвокат, так откуда им было взяться? Думаю, он умеет обращаться с уликами. Это сильно встряхнуло семейку, поэтому я всегда считал его, – Камиль задумался, – своего рода героем. Любой, кто способен навредить Вьефвилям, мой герой. Еще есть другой Антуан, Сен-Жюст из Нуайона, не знаю в точности, кем он мне приходится. Так вот, недавно он сбежал, прихватив семейное серебро, а его вдовья мать, вообразите, добыла *lettre de cachet*<sup>2</sup> и отправила его в исправительный дом. Когда он выйдет – полагаю, довольно скоро, – то будет вне себя от злости и никогда этого не простит. Один из тех самоуверенных мальчишек, которые поглощены только собой, и, думаю, кипит от гнева, замышляя месть. Ему всего девятнадцать, надеюсь, его ждет преступная карьера и он отвлечет родственников от меня.

– Почему бы вам не написать ему письмо с таким советом?

– А что, и напишу. Но вы правы, дальше так продолжаться не может. У меня есть опубликованные стихи – о, ничего особенного, скромные вирши. Больше всего мне нравится писать, для меня, с моим физическим изъяном, такое облегчение лишний раз не открывать рта. Мне хотелось бы жить в покое, желательно в тепле, и чтобы никто меня не трогал, пока я не напишу чего-нибудь стоящего.

Д'Антон больше ему не верил. Он считал подобные рассуждения отговорками, призванными скрыть, что Камиль – неисправимый смутьян.

– А у вас нет кого-нибудь поприличнее?

– О да, у меня есть друг, де Робеспьер, но он живет в Аррасе, и мы редко видимся. А еще ко мне добр мэтр Перрен.

Д'Антон удивленно уставился на него. Как можно спокойно сказать, что мэтр Перрен к нему добр?

---

<sup>2</sup> Приказ о внесудебном аресте за королевской подписью (*фр.*).

– И вы не против? – спросил он резко.

– Что обо мне пойдут разговоры? Видите ли, – мягко промолвил Камиль, – мне не хотелось бы стать объектом всеобщего осуждения, но не настолько, чтобы это желание повлияло на мой образ жизни.

– Я просто хотел бы знать, – сказал д'Антон. – Для себя. Есть ли в этом хоть крупинка правды?

– Ах вот оно что. Остался час до восхода, и вы боитесь, что я побегу во Дворец Сите, рассказывая каждому встречному, что провел с вами ночь?

– Кто-то говорил мне... помимо прочего... что у вас интрижка с замужней женщиной.

– В своем роде.

– Умеете вы создавать себе трудности.

К четырем утра он уже чувствовал, что знает о Камиле слишком много, больше, чем ему хотелось бы. Он смотрел на него сквозь дымку алкоголя и усталости, атмосферу будущих лет.

– Я рассказал бы вам об Аннетте Дюплесси, – сказал Камиль, – но жизнь слишком коротка.

– Разве? – Д'Антон никогда раньше об этом не задумывался. Ползти навстречу будущему порой казалось ему долгим, долгим занятием.

В июле 1786 года у королевской четы родилась дочь.

– Замечательно, – сказала Анжелика Шарпантье, – но, боюсь, ей снова понадобятся бриллианты, чтобы пережить утрату стройности.

Ее муж возразил:

– Откуда нам знать, что она утратила стройность? Мы никогда ее не увидим. У нее предубеждение против Парижа. – Он говорил с явным сожалением. – Думаю, она нам не доверяет. Она не француженка и оторвана от родины.

– Я тоже оторвана до родины, – сурово промолвила Анжелика. – Но я из-за этого не вгоняю нацию в долги.

Долг, дефицит – эти слова не сходили с губ завсегдатаев кафе. Они считали, что лишь немногим людям под силу вообразить столько денег, и мсье Калонн явно не из их числа. Мсье Калонн был превосходным придворным: кружевные манжеты, лавандовая вода, трость с позолоченным набалдашником и всем известная страсть к трюфелям из Перигора. Как и мсье Неккер, он брал в долг. Однако в кафе считали, что займы мсье Неккера были обоснованными, в то время как займы мсье Калонна проистекают от отсутствия воображения и желания сохранить видимость.

В августе 1786-го генеральный контролер финансов представил королю пакет реформ. Для этого имелась серьезная и настоятельная причина: половина доходов следующего года была уже потрачена. Франция – страна богатая, заявлял мсье Калонн своему государю, и способна приносить в разы больше дохода. Это прибавит монархии славы и престижа. Людовик колебался. Он ничего не имел против славы и престижа монархии, но ему хотелось делать только то, что правильно, а ведь для новых доходов потребуются решительные изменения?

Да, отвечали ему министры, отныне все – аристократы, духовенство и простой люд – будут платить земельный налог. Пагубной системе налоговых освобождений придет конец. Торговля станет свободной, внутренние таможенные пошлины упразднятся. К тому же придется уступить мнению либеральных кругов: о принудительном крестьянском труде нужно будет забыть. Король хмурился. Нечто подобное он уже слышал. Это напоминает мне мсье Неккера, заметил он. Задумайся он глубже, это напомнило бы ему также мсье Тюрго, однако к тому времени король окончательно запутался в своих мыслях.

Дело в том, заявил Людовик министрам, что, даже согласись я с подобными мерами, парламент никогда их не одобрит.

Бесспорно, отвечал мсье Калонн, его величество с присущим ему безошибочным чутьем зрит в корень.

Однако, если его величество сознает необходимость перемен, должна ли непокорность парламента его сдерживать? Не пора ли перехватить инициативу?

Э-э-э, проямлил король, заерзал в кресле и выглянул в окно, посмотреть, что там с погодой.

Следует созвать собрание нотаблей, не унимался Калонн. Что-что? – изумился король. Калонн продолжал настаивать. Нотабли, осознав плачевное экономическое положение, поддержат любое начинание, которое его величество сочтет своевременным. Это сильный ход, заверил Калонн, создать орган, который, по сути своей, стоит выше парламента, орган, чьи инициативы парламенту придется поддержать. Это будет ход, достойный Генриха IV.

Король размышлял. Генрих IV был самым мудрым и почитаемым из монархов. Именно ему он, Людовик, хотел подражать.

Король обхватил голову руками. То, что изложил Калонн, звучало заманчиво, но министры всегда гладко стелют, а на деле все оказывается гораздо сложнее. А потом, королева и ее клика... Он поднял глаза.

Королева считает, сказал он, что в следующий раз, когда парламенты выступят ему наперекор, их следует распустить. Парижский вместе с провинциальными: покончить с ними раз и навсегда.

Услышав такое, мсье Калонн задрожал. Это приведет к разгулу насилия, десятилетию ожесточенных споров, вендетт и мятежей! Мы должны разорвать этот порочный круг, ваше величество, поверьте мне, просто поверьте, никогда еще положение не было таким отчаянным.

Жорж-Жак пришел к мсье Шарпантье и открыл карты.

– У меня есть незаконнорожденный ребенок, – заявил он. – Сын, четырех лет от роду. Мне следовало сказать вам раньше.

– С чего бы это? – Мсье Шарпантье пытался собраться с мыслями. – Приятные сюрпризы можно и придержать.

– Я чувствую себя лицемером, – продолжил д'Антон. – Сам только что отчитал малыша Камиля.

– Продолжайте, Жорж-Жак. Я весь внимание.

Они познакомились в карете, в его первый приезд в Париж. Она дала ему свой адрес, и спустя несколько дней он пришел ее проведать. Вероятно, мсье Шарпантье легко догадается, что было потом. Нет, они уже не вместе, все позади. Мальчик с няней в деревне.

– Полагаю, вы предлагали на ней жениться?

Д'Антон кивнул.

– Почему она отказалась?

– Вероятно, ей опротивело мое лицо.

Мысленным взором он видел, как Франсуаза меряет шагами спальню вне себя от ярости, что ее постигла печальная судьба всех женщин: я хочу выйти замуж за достойного человека, не за какого-то писаря, не за пустое место, а ты, с твоей горячностью и заносчивым нравом, ты начнешь бегать за юбками, не пройдет и месяца. Даже когда ребенок уже толкался у нее внутри, это казалось ему досадной случайностью, не имеющей к нему никакого отношения: то ли будет, то ли нет. Бывает, дети рождаются мертвыми или умирают в первые же дни. Он не рассчитывал на такой исход, но всякое бывает.

Однако ребенок рос у нее в утробе и вскоре появился на свет. В свидетельстве она указала: «Отец неизвестен». А сейчас Франсуаза нашла мужчину, который, по ее мнению, годился ей в мужья, – некоего мэтра Юэ де Пези, королевского советника. Мэтр Юэ раздумывал о

продаже должности – собирался заняться чем-то другим, д'Антон не спрашивал, чем именно. Должность он хотел продать д'Антону.

– Сколько он просит?

Д'Антон ответил. Пережив второе за утро потрясение, Шарпантье заявил:

– Это немыслимо.

– Согласен, цена завышена, но в нее входит содержание ребенка. Мэтр Юэ признает отцовство, все будет сделано законным путем, и я смогу навсегда забыть об этой истории.

– Ее семье следовало бы заставить вас жениться. Что они за люди? – Шарпантье помедлил. – Конечно, с одной стороны, это решает проблему, но что насчет ваших долгов? Не уверен, что вы вообще сможете собрать такую сумму. – Шарпантье подвинул ему клочок бумаги. – Вот то, что могу дать я, будем считать, что в долг, но после подписания брачного контракта я готов о нем забыть.

Д'Антон склонил голову.

– Я забочусь о будущем Габриэль, она моя единственная дочь. Кроме того, ваше семейство тоже может поучаствовать. Однако этого все равно мало. – Шарпантье записал цифры. – Где взять остальное?

– Занять. Как сказал бы Калонн.

– Не вижу иного способа.

– Боюсь, в истории есть еще одно заинтересованное лицо. Вам это не понравится. Видите ли, Франсуаза сама предложила дать мне в долг. Она женщина весьма состоятельная. Мы не обсуждали деталей, но сомневаюсь, что она предложит низкий процент.

– Чудовищно! Господи, какая мерзавка! Вам не захотелось ее придушить?

– Захотелось. – Д'Антон улыбнулся.

– А вы уверены, что ребенок от вас?

– Она не стала бы мне лгать. Побоялась бы.

– Все мужчины так рассуждают... – Он заглянул д'Антону в лицо. Лгать такому? Нет, невозможно. Ребенок точно от него. – Это очень большая сумма. Непропорционально высокая плата за одну ночь. Долг будет преследовать вас годами.

– Ей хотелось выжать из меня все, что можно. Думаю, вы понимаете. – (В конце концов, это было ее болью, ее бесчестием.) – Я хочу уладить все в ближайшие месяцы. Мы с Габриэль должны начать с чистого листа.

– Я не назвал бы это чистым листом, – мягко заметил Шарпантье. – Совсем наоборот. Вы отдаете в заклад ваше будущее. А не могли бы вы...

– Нет, я не стану ей перечить. Когда-то я любил ее. К тому же мой долг – позаботиться о ребенке. Подумайте сами, поступи я иначе, вы бы приняли такого зятя?

– Не обижайтесь, но я стар и многое повидал на своем веку. Я беспокоюсь о вас. Когда вы должны погасить долг целиком?

– Она сказала, в девяносто первом, в первый кварталный день года. Должен ли я рассказать об этом Габриэль?

– Решайте сами. Надеюсь, до свадьбы вы будете вести себя благоразумно?

– Послушайте, у меня впереди четыре года, чтобы расплатиться за ошибки молодости! Я справлюсь.

– Безусловно, пост королевского советника приносит хорошие деньги.

Он молод, ретив, думал мсье Шарпантье, всё в его руках, но в глубине души он наверняка сомневается. Ему захотелось подбодрить будущего зятя.

– Знаете, мэтр Вино утверждает, что нас ждут трудные времена, а значит, количество тяжб вырастет. – Он сложил клочок бумаги. – Я уверен, до девяносто первого года случится что-нибудь, что выправит ваши денежные затруднения.

Второе марта 1787 года. Камиллю исполнилось двадцать семь, и уже целую неделю никто его не видел. Кажется, ему снова пришлось сменить адрес.

Собрание нотаблей зашло в тупик. Кафе заполняли крикливые спорщики.

– Что именно сказал маркиз Лафайет?

– Он сказал, следует созвать Генеральные штаты.

– Но это пережиток! Генеральные штаты не созывались с...

– Тысяча шестьсот четырнадцатого года.

– Спасибо, д'Антон, – сказал мэтр Перрен. – Чем они могут нам помочь? Духовенство будет заседать в одной палате, дворяне – в другой, а простолюдины в третьей. И что бы ни предложили простолюдины, два других сословия проголосуют против. И какого прогресса...

– Поймите, – перебил его д'Антон, – даже устаревший общественный институт способен принять новую форму. Ему необязательно повторять пройденное.

Собеседники хмуро смотрели на д'Антон.

– Лафайет молод, – заметил мэтр Перрен.

– Он примерно ваших лет, Жорж.

Однако пока я корпел над томами в конторе Вино, подумал д'Антон, он вел за собой армии. Я бедный адвокат, а он – герой Франции и Америки. Ему суждено стать вождем нации, а мне – вечно сводить концы с концами. И теперь этот невзрачный молодой человек, скромный, светловолосый, предложил идею, и д'Антон, который чувствовал к нему необъяснимую неприязнь, был вынужден ее защищать.

– Генеральные штаты – наша единственная надежда, – сказал он. – Они обеспечат нам представительство, нам, третьему сословию. Очевидно, что дворяне не заботятся об интересах короля, стало быть, и ему глупо защищать их интересы. Он должен созвать Генеральные штаты и передать власть третьему сословию – не просто дать право высказывать суждения или раздавать советы, а власть принимать решения.

– Не поверю, пока не увижу собственными глазами, – заметил Шарпантье.

– Не будет этого, – сказал Перрен. – Но куда больше меня волнует предложение Лафайета расследовать налоговые мошенничества.

– А также сомнительные закулисные спекуляции, – добавил д'Антон. – Грязные операции на рынке.

– Особенно горячо его поддержат те, у кого нет облигаций, но кто не отказался бы их иметь, – сказал Перрен.

Тут что-то отвлекло мсье Шарпантье. Он посмотрел через плечо д'Антон и улыбнулся.

– А вот и человек, который нам все разъяснит. – Раскинув руки, он двинулся к двери. – Мсье Дюплесси, редкая птица. Позвольте представить вам жениха моей дочери. Мсье Дюплесси, мой старый друг, служит в казначействе.

– В наказание за мои грехи, – подхватил мсье Дюплесси с мрачной улыбкой и кивнул д'Антону, как будто слышал его имя прежде.

Мсье Дюплесси было за пятьдесят. Он был высокий, со следами былой красоты, опрятно и просто одетый. Казалось, его взгляд задерживается по дальнюю сторону предметов, словно имеет свойство беспрепятственно проникать сквозь мраморные столешницы, позолоченные кресла и облаченные в черное конечности столичных адвокатов.

– Значит, Габриэль выходит замуж. Когда ждать счастливого события?

– Мы еще не определились с датой. В мае или в июне.

– Как летит время!

Мсье Дюплесси вылеплял банальности, как дети лепят куличики из песка. Затем он улыбнулся – впечатление было такое, будто это требует от него мышечного усилия.

Мсье Шарпантье протянул гостю кофе:

– Я слышал о вашем зяте, соболезную.

– Да, тяжкое горе, большое несчастье. Моя дочь Адель только что вышла замуж и уже овдовела, а сама еще такой ребенок. – Он обращался к Шарпантье, глядя ему через левое плечо. – С Люсиль мы спешить не станем. Хотя ей уже пятнадцать-шестнадцать. Маленькая дама. От дочерей одни заботы. Впрочем, как и от сыновей, хотя у меня их нет. От зятьев тоже хватает хлопот, особенно если им случится умереть. К вам это не относится, мсье д'Антон. Уверен, от вас хлопот не будет. У вас очень здоровый вид. Даже слишком.

Как можно держаться с таким важным видом и нести такую дикую ахинею, подумал д'Антон. Интересно, он такой всегда или только сегодня? Дефицит бюджета или домашние заботы так ослабили его разум?

– А как поживает ваша дорогая жена? – спросил Шарпантье. – Как ее здоровье?

Мсье Дюплесси задумался. Казалось, он пытается вспомнить лицо супруги.

– Как всегда.

– Не откажетесь отужинать с нами? Разумеется, вместе с дочерьми, если они окажут нам честь.

– Я бы... мне бы... столько дел... целыми неделями пропадаю в Версале и только сегодня выбрался... порой работаю даже в выходные. – Он обернулся к д'Антону. – Я прослужил в казначействе всю жизнь. Достойная карьера, но с каждым днем служба дается все труднее. Если бы аббат Терре...

Шарпантье подавил стон. Сколько можно? И ему, и всем присутствующим такой поворот разговора был не в новинку. Аббат Терре был лучшим генеральным контролером всех времен, фискальным героем Дюплесси.

– Если бы Терре остался, он бы нас выручил. Все замыслы и решения, которые нынче претворяют в жизнь, много лет назад были задуманы аббатом Терре.

В молодости, когда дочери были маленькими, каждый его день в казначействе был наполнен свершениями и смыслом, но парламент невзлюбил аббата: они обвинили Терре в спекуляциях зерном и заставили глупцов сжечь его чучело.

– Тогда еще все можно было исправить, положение не было таким безнадежным. И с тех пор они носятся всё с теми же идеями... – Мсье Дюплесси в отчаянии махнул рукой. Он принимал заботы королевского казначейства близко к сердцу, а с тех пор, как ушел аббат Терре, служба превратилась в череду каждодневных страданий.

Мсье Шарпантье наклонился подлить гостю кофе.

– Нет, мне пора, – сказал Дюплесси. – Я взял бумаги домой. Мы обсудим ваше приглашение. Как только минует кризис.

Дюплесси приподнял шляпу, поклонился и двинулся к двери.

– А когда он минует? – спросил Шарпантье. – Бог знает.

К мужу подскочила Анжелика.

– Я все видела, – заявила она. – Ты ухмылялся, расспрашивая его про жену. А вы, – она легонько похлопала д'Антон по плечу, – вы посинели от натуги, пытаетесь не расхохотаться ему в лицо. Что я пропустила?

– Пустые сплетни, дорогая.

– Пустые? Вся наша жизнь состоит из сплетен!

– Это касается цыганистого приятеля Жоржа, мсье Преуспеть-в-обществе-любой-ценой.

– Что? Камиля? Ты меня дразнишь. Я не такая легковверная. – Она оглянулась на ухмыляющихся посетителей. – Аннетта Дюплесси? – спросила Анжелика. – Аннетта Дюплесси?

– Тогда слушай внимательно, – сказал муж. – Все очень запутано, все ненадежно, и нельзя сказать, когда этому придет конец. Некоторые покупают абонементы в Оперу, другие увлекаются романами мистера Филдинга. Лично я предпочитаю домашние развлечения, и, поверь мне, нет ничего более увлекательного, чем жизнь на улице Конде. Для ценителя человеческой глупости...

– Иисус Мария! Не хочу больше об этом слушать, – сказала Анжелика.

## Глава 2

### Улица Конде, вечер четверга (1787)

Аннетта Дюплесси была женщиной находчивой. С проблемой, которая досаждала ей ныне, она ловко справлялась на протяжении последних четырех лет. Этим вечером она собиралась решить ее окончательно и бесповоротно. В середине дня поднялся холодный ветер, сквозняки свистели по комнатам, задувая в замочные скважины и дверные щели: то трепетали смутные знамена надвигающегося кризиса. Заботясь о фигуре, Аннетта выпила стакан яблочного уксуса.

Когда много лет тому назад она выходила за Клода Дюплесси, он был старше ее всего на несколько лет, а теперь, казалось, годился ей в отцы. И зачем только она согласилась? Аннетта все время спрашивала себя об этом. И приходила к заключению, что в юности отличалась излишней серьезностью и только с годами стала легкомысленнее.

Когда они встретились, Клод уверенно торил свой путь к вершинам гражданской службы, последовательно проходя все стадии и этапы чиновничьей табели о рангах: от мелкого служащего на побегушках до служащего средней руки, от чиновника, обладающего солидным авторитетом, до чиновника по особым поручениям, чиновника, наделенного исключительными полномочиями, чиновника *in excelsis*<sup>3</sup>, чиновника всем чиновникам чиновника. Более всего она ценила его ум, его неусыпное и усердное радение о благе нации. Его отец был кузнецом, пусть и преуспевающим, а с рождения сына сам на кузнице не работал, однако успех Клода все равно заслуживал восхищения.

Немного оперившись, Клод начал задумываться о женитьбе и был совершенно сбит с толку царящим в умах легкомыслием. У Аннетты было хорошее приданое, она не знала недостатка в поклонниках, и по неведомым причинам Клод сначала проникся к ней уважением, а уже затем привязанностью. Даже различия между ними, казалось, свидетельствовали о глубине их чувств, и друзья предсказывали, что этот союз станет примером идеального брака.

Делая предложение, Клод не блистал красноречием. Его коньком были цифры. Тем не менее Аннетта верила в чувства, которые слишком сильны для слов. Он прекрасно владел лицом и надеждами, крепко держа их на стальной проволоке самоконтроля; Аннетта воображала, что все сомнения гремят у него в голове, словно костяшки на счетах.

Спустя полгода ее добрые намерения истопились. Однажды ночью Аннетта выбежала в сад в одной рубашке, выкрикивая яблоням и звездам: «Клод, какой же ты скучный!» Она помнила мокрую от росы траву под ногами и то, как вздрагивала, оглядываясь на светящиеся окна. Она думала, замужество освободит ее от родительского гнета, а выходит, она своими руками отдала Клоду свободу. Из тюрьмы не сбежать, сказала она себе, это кончается плохо, трупам в размокших полях. Затем вернулась, вымыла ноги и выпила теплого травяного чая, чтобы вытравить последние остатки надежд.

После этого Клод еще несколько месяцев обращался с ней подозрительно и настороженно. Даже теперь, когда она хворала или капризничала, он мог намекнуть на тот давний случай, заметив, что, хотя давно смирился с ее взбалмошностью, в тот первый раз ее поведение застало его врасплох.

После рождения дочерей она ему изменила. Он был коллегой мужа, адвокатом, плотным и светловолосым, и, по слухам, нынче проживал в Тулузе, имея на иждивении краснолицую отечную супругу и пятерых дочерей в монастырской школе. Повторять она не захотела. Клод

---

<sup>3</sup> В вышних (лат.).

не стал допытываться. Если бы стал, все могло сложиться иначе, но, поскольку он и мысли не допускал об измене, Аннетте было незачем вновь пускаться во все тяжкие.

А впрочем, прокрутим годы вперед, не останавливаясь на том, что могло бы трактоваться как измена. Итак, Камиль возник в ее жизни, когда ему исполнилось двадцать два. Его привел старинный друг ее семейства Станислас Фрерон. Выглядел Камиль от силы лет на семнадцать, и ему оставалось четыре года до вступления в возраст, с которого разрешалось заниматься адвокатской практикой. Вообразить его в этой роли было непросто. Его разговоры представляли собой череду вздохов и запинок, колебаний и провалов. Порой у него дрожали руки. Он избегал смотреть собеседникам в глаза.

Камиль удивительный, сказал Станислас Фрерон. Когда-нибудь он станет знаменитостью. Казалось, ее присутствие, ее домашние пугали его. Однако он продолжал у них бывать.

В начале знакомства Клод пригласил его на ужин. Список гостей подбирался тщательно, для мужа ужин был прекрасной возможностью пространно изложить гостям свой экономический прогноз на ближайшие пять лет (мрачный) и предаться воспоминаниям об аббате Терре. Камиль напряженно молчал, лишь иногда позволяя себе тихо уточнить у мсье Дюплесси, откуда взялись цифры. Клод велел принести чернила, перо и бумагу. Отодвинув тарелки, он склонил голову над вычислениями. Ужин на одной половине стола был скомкан. Одарив этих двоих недоуменными взглядами, гости развлекали друг друга вежливой застольной беседой. Покуда Клод писал и бормотал, Камиль заглядывал ему через плечо, обсуждая упрощения и задавая пространные и обоснованные вопросы. Клод поминутно закрывал глаза. Цифры рассыпались с кончика его пера, словно скворцы на снегу.

Аннетта перегнулась через стол:

– Милый, ты не мог бы...

– Минутку.

– Это слишком сложно для...

– Здесь, здесь и еще здесь...

– ...обсудить это позже?

Клод подбросил листок в воздух.

– Все это весьма приблизительно, – сказал он. – Не более чем приблизительно. С другой стороны, неточности финансистов рождают идеи.

Камиль взял листок, пробежал его глазами и, оторвавшись от бумаги, встретил ее взгляд. От избытка чувств Аннетту бросило в жар. Взглядом заботливой хозяйки она оглядела других гостей. Чего я решительно не понимаю, сказал Камиль, – вероятно оттого, что отчаянно глуп, – это как министерства взаимодействуют между собой и распределяют свои фонды. Нет, отвечал Клод, глупость тут ни при чем, хотите покажу?

Отодвинув кресло, он встал, возвышаясь над головами гостей, которые теперь смотрели на него снизу вверх.

– Уверен, никто из нас не откажется узнать об этом побольше, – заметил помощник министра.

Впрочем, когда Клод направился в другой угол столовой, на лице помощника проступило удивление. Когда муж проходил мимо, Аннетта вытянула руку, словно хотела предостеречь ребенка от шалости.

– Я только возьму корзину с фруктами, – сказал ей Клод, как будто это его оправдывало.

Взяв корзину, Клод вернулся на место и установил ее в центре стола. Апельсин соскочил на стол и медленно откатился, словно обладал собственным разумом и знал о своем тропическом происхождении. Все гости смотрели на апельсин. Не отводя глаз от лица Клода, Камиль вытянул руку, остановил апельсин и слегка подтолкнул его через стол. Словно зачарованная, она потянулась за апельсином. Теперь все гости смотрели на нее. Аннетту бросило в

жар, словно пятнадцатилетнюю. Ее муж тем временем принес с бокового столика супницу и выхватил блюдо с овощами у слуги, который собирался его унести.

– Допустим, эта корзина представляет собой доход, – сказал Клод.

Теперь хозяин полностью владел вниманием гостей. А если, начал Камиль, и зачем...

– А супница – министр юстиции, который одновременно, разумеется, является хранителем печатей.

– Клод... – попыталась вмешаться Аннетта.

Муж шикнул на нее. Завороженные и парализованные гости следили за перемещениями еды по столу. Клод ловко выхватил бокал у помощника министра. Чиновник перебирал пальцами в воздухе, словно изображал арфиста в шараде, затем нахмурился, однако Клода было не остановить.

– Допустим, солонка – секретарь министра.

– Такой коротышка, – удивился Камиль. – Не думал, что они такие.

– А ложки – казначейские предписания. А теперь...

Хорошо, сказал Камиль, но не могли бы вы уточнить, не могли бы объяснить, просто вернуться к предыдущей мысли и... Разумеется, согласился Клод, но картинка должна нарисоваться у вас в голове. Чтобы восстановить равновесие, он потянулся за кувшином для воды, лицо сияло.

– Это лучше, чем кукольный театр мистера Панча, – прошептал кто-то из гостей.

– Так и ждешь, что супница заговорит скрипучим голосом.

Пусть он сжалится, взмолилась Аннетта, пожалуйста, пусть он перестанет задавать вопросы. Она видела, как Камиль, слегка рисуясь, подыгрывает Клоду, пока ее гости сидели, раскрыв рот, над разоренным столом, с пустыми бокалами или вовсе без бокалов – обойденные десертом, переглядываясь, пряча смешки. Скоро об этом конфузе узнает весь город, о них будут судачить в министерствах и во Дворце Сите, люди будут собирать гостей, чтобы позабавить их рассказами о моем званом ужине. Пожалуйста, пусть он прекратит, пусть что-нибудь случится, но что может случиться? Разве что пожар.

И все это время, пока Аннетта распяляла себя, осушив до дна бокал и промокнув губы носовым платком, горящие глаза Камилля сжигали ее над цветочными гирляндами, которые украшали стол. Наконец, кивнув гостям, она с умиротворяющей улыбкой на устах, адресованной вуайеристам, выскользнула из-за стола. Десять минут Аннетта просидела перед туалетным столиком, потрясенная направлением, которое приняли ее мысли.

Она хотела подкраситься, но не хотела видеть пустоты и потерянности в глазах. Уже несколько лет они с Клодом спали порознь. Какая разница? Отчего вдруг она это вспомнила? Может быть, ей тоже потребовать перо и бумагу, чтобы рассчитать дефицит собственной жизни? Клод говорит, если так будет продолжаться, то к восемьдесят девятому году страну ждет крах и нас вместе с ней. Аннетта разглядывала себя в зеркале, непрошенные слезы застилали глаза, и она вытирала их носовым платком, которым раньше промокала с губ красное вино. Возможно, я выпила больше, чем следовало, возможно, мы все выпили лишнего, за исключением этого ехидного мальчишки. И что бы мне ни пришлось прощать в будущем, я никогда не прощу ему, что сегодня он испортил мой званый ужин и выставил Клода на посмешище. Зачем я схватила этот апельсин? Она, словно леди Макбет, уставилась на свою руку. Как, в нашем доме?

Когда Аннетта вернулась за стол – ощущая кровь под ногтями, – представление было окончено. Гости отвлеклись на птифуры. Клод вопросительно посмотрел на нее. Он выглядел довольным. Камиль больше не участвовал в разговоре и сидел, уставившись в стол. Выражение его лица, с которым он посмотрел на одну из ее дочерей, показалось ей неестественно серьезным. На остальных лицах читались неловкость и скованность. Подали кофе – черный и горький, как упущенные возможности.

На следующий день Клод вернулся к событиям ужина. Насколько полезнее проводить время так, чем просто сидеть за столом, заявил он. Если бы все светские обязанности были таковы, он никогда бы не роптал на их избыточность, и, кстати, не могла бы она снова пригласить того юношу, чье имя он запомнил? Он был так мил и любознателен, какая жалость, что он заика; возможно, он просто медленно соображает? Надеюсь, впрочем, что юноша не составил превратного впечатления о работе казначейства.

Какая, должно быть, пытка, подумала Аннетта, будучи дураком, понимать, что ты дурак. И как повезло Клоду, что он этого не понимает.

На следующем званом ужине Камиль не позволял себе смотреть на нее так, как в прошлый раз. Они словно сговорились: больше никаких безрассудств. Так-так, подумала она, интересно.

Он заявил ей, что не хочет быть адвокатом, однако стипендия накладывает на него ограничения. Подобно Вольтеру, он желает зарабатывать на жизнь исключительно своим пером.

– Ах, Вольтер, – сказала она. – Меня тошнит от этого имени. Думаю, скоро писательство станет слишком большой роскошью, и нам всем придется подражать Клоду.

Камиль небрежным жестом отвел волосы от лица. Ей нравился этот жест: очень характерный, бессмысленный, но такой притягательный.

– Это только слова. В глубине души вы в них не верите. Вы думаете, все останется как есть.

– Позвольте мне самой решать, что лежит в глубине моей души.

Время шло, и ее начала тяготить неуместность их дружбы. И дело было не столько в его возмутительной молодости, сколько в нем самом. Его друзья были безработными актерами или подпольными типографами. Они обзаводились незаконными детьми, исповедовали радикальные взгляды, бежали за границу, когда полиция выходила на их след. Все это было бесконечно далеко от жизни, протекавшей в приличных гостиных. Аннетта предпочитала ни о чем его не расспрашивать.

Камиль продолжал бывать у них, больше не позволяя себе никаких выходок. Порой Клод приглашал его погостить в Бур-ла-Рен, где у них была земля и благоустроенный сельский дом. Вот и девочки к нему привязались, думала она.

За прошедшие два года они виделись постоянно. Ее друг, который знал, о чем говорит, намекнул ей, что Камиль педераст. Она не поверила, но отметила это про себя на случай, если Клод выскажет неудовольствие. Впрочем, с какой стати? Камиль скромный воспитанный юноша, которого принимают в доме. И между ними ничего не было.

Однажды она спросила его:

– Вы хорошо разбираетесь в полевых цветах?

– Не особенно.

– Люсиль сорвала в Бур-ла-Рен цветок и спросила у меня, как он называется. Я не знала, но сказала, что вы знаете все на свете. Я вложила цветок, – она потянулась за книгой, – в словарь и обещала спросить вас.

Аннетта устроилась подле него с большим словарем, куда запихивала письма, счета и все, что считала нужным хранить, осторожно раскрыла его, боясь, что содержимое разлетится по комнате. Аккуратно подцепив ногтем, он перевернул сухой, как бумага, листок и нахмурился.

– Вероятно, самый обычный сорняк, – сказал он.

Затем обнял ее и попытался поцеловать. Больше от изумления, чем из чувства долга Аннетта отпрянула, выронила словарь, и бумажки рассыпались по полу. Уместно было бы залепить ему пощечину, подумала она, но какое клише, к тому же сначала нужно встать с дивана. Ей всегда хотелось ударить мужчину по лицу, но желательно кого-нибудь покрепче. Момент был упущен. Она вцепилась в диван и, пошатываясь, встала.

– Простите, – промолвил он. – Это было чересчур прямолинейно.

Аннетта слегка дрожала.

– Как вы посмели?

Он поднял руку ладонью вверх:

– Аннетта, я вас хочу.

– Это невозможно, – сказала она, глядя на разлетевшиеся бумажки.

Его стихи лежали рядом со счетом от модистки, который она решила не показывать Клоду. А вот Камиллю, подумала она, никогда бы в голову не пришло спрашивать, сколько стоит женская шляпка. Он выше этого и одновременно ниже. Она решила отвернуться к окну (хотя стоял такой же промозглый зимний день, как сегодня) и прикусила губу, чтобы не дрожала.

С тех пор минул год.

Они болтали о театре, книгах и общих знакомых, но на самом деле все разговоры вращались вокруг одного вопроса: когда она согласится с ним переспать. Она говорила то, что обычно говорят в подобных случаях. Он отвечал, что ее доводы устарели, так рассуждают люди, которые боятся самих себя, боятся быть счастливыми, боятся Господней кары, люди, задушенные пуританством и чувством вины.

Аннетта думала (про себя), что из всех, кого она знает, больше всех себя самого боится именно он, и не без оснований.

Она заявляла, что никогда ему не уступит, а спорить можно до бесконечности. Строго говоря, не до бесконечности, возражал Камиль, а до тех пор, пока мы не состаримся и не станем никому не нужны. Англичане занимаются этим в палате общин. На ее лице отразилось изумление. Нет, не тем, о чем она подумала. Если кто-то вносит закон, который вам не по нраву, вы встаете и начинаете излагать все за и против, пока депутаты не разойдутся или не закончится сессия. Это называется «заболтать закон» и может тянуться годами.

– С другой стороны, – заметил он, – я так люблю наши беседы, что готов проговорить с вами всю жизнь. Но, откровенно сказать, я хочу вас сейчас.

После того, первого случая Аннетта держалась с прохладцей, умело пресекая его поползновения. Нельзя сказать, что он рвался ее коснуться. И редко позволял ей коснуться себя. Если ему случалось нечаянно задеть ее, он всегда извинялся. Лучше так, говорил он. Трудно спорить с человеческой природой, и вечера порой тянутся так долго: девочки отправились навестить подруг, улицы опустели, в комнате слышен лишь стук часов и биение сердец.

Поначалу она собиралась положить конец этому недороману плавно, когда сочтет нужным. В подобных отношениях есть свои плюсы. Однако то ли Камиль проговорился, то ли кто-то из приятелей мужа догадался, но вскоре о них судачили все подряд. Клод не знал отбоя от любопытных гостей. Их обсуждали в гардеробных (если не в Шатле, то в гражданских судах, называя скандалом года среди людей среднего достатка), в модных кафе и министерствах. Сплетники не ведали об их спорах, изящно уравновешенных взаимных соблазнах, сомнениях, угрызениях совести. Она была привлекательна, не первой молодости, томилась скукой. Он был юн и настойчив. Конечно, между ними все уже было, а вы сомневались? Вопрос, как давно. И когда Дюплесси решит, что пора перестать не замечать очевидного?

Возможно, Клод был глух, слеп и нем, но святым он не был, как не был и мучеником. «Адюльтер» – отвратительное слово. Пришло время положить этому конец, решила Аннетта: покончить с тем, что не начиналось.

Почему-то ей вспомнилось, что до того, как они с Клодом завели привычку спать в разных спальнях, ей раз или два казалось, что она снова беременна. Думаешь, похоже на то, переживаешь странные ощущения, а потом из тебя идет кровь, и ты понимаешь, что ничего не было. Проходит неделя-другая твоей жизни, в тебе что-то растет, ровный поток любви перетекает из разума в тело, во внешний мир и грядущие годы. А потом все позади или никогда не начиналось: выкидывай любви. Дитя существовало только в твоей голове. Были бы у него голубенькие глазки? Каким был бы его характер?

Наконец этот день настал. Аннетта сидела за туалетным столиком. Рядом суежилась горничная, подкручивая и приглаживая ее локоны.

– Не так, – сказала Аннетта, – так мне не нравится. Меня это старит.

– Что вы! – с притворным ужасом воскликнула горничная. – Ни на день из ваших тридцати восьми!

– Мне не нравится число тридцать восемь, – сказала Аннетта. – Я люблю круглые цифры. К примеру, тридцать пять.

– Сорок – отличная круглая цифра.

Аннетта глотнула яблочного уксуса и поморщилась.

– Ваш гость прибыл, – сообщила горничная.

Ветер швырял в окно пригоршни дождя.

В соседней комнате дочь Аннетты Люсиль открыла новый дневник. Начнем сначала. Алый переплет. Белая бумага с атласным отливом. Закладка-ленточка.

«Анна Люсиль Филиппа Дюплесси, – вывела она очередным новым почерком, который как раз отработывала. – Дневник Люсиль Дюплесси, год рождения 1770, год смерти... Том III. Год 1786».

«В этот период моей жизни, – писала она, – я много думаю о том, что значит быть королевой. Но не нашей, а какой-нибудь трагической. Я думаю о Марии Тюдор: „Когда я умру и меня разрежут, они найдут на моем сердце слово: Кале“. Когда я, Люсиль, умру и меня разрежут, там будет написано: *Ennuï*<sup>4</sup>».

Вообще-то, я предпочитаю Марию Стюарт. Она давно уже моя любимая королева. Я думаю о ее ослепительной красоте среди грубых шотландцев. Думаю о стенах замка Фотерингей, давящих, словно края могилы. Какая жалость, что ей не случилось умереть молодой! Всегда лучше, если люди умирают, излучая молодость, и не думаешь, располнели ли они к старости и был ли у них ревматизм».

Люсиль сделала отступ, вдохнула и начала с новой строки.

«В ночь перед казнью она писала письма, отослала один алмаз Мендосе, другой – королю Испании. Запечатав письма, сидела с открытыми глазами, а ее женщины молились».

В восемь утра за ней пришел надзиратель. Преклонив колени на при-дье<sup>5</sup>, она тихо читала отходные молитвы. Ее коленопреклоненные слуги смотрели, как она прошла в залу, вся в черном, с распятием слоновой кости в ладонях такого же цвета.

Триста человек собрались, чтобы увидеть, как она умирает. Она неожиданно для них появилась из боковой дверцы, и лицо ее было невозмутимо. Эшафот затянули черной тканью. Для нее оставили черную подушечку, преклонить колени. Но когда ее служанки выступили

---

<sup>4</sup> Скука (*фр.*).

<sup>5</sup> Скамья для коленопреклоненных молитв.

вперед и стянули с ее плеч черный плащ, оказалось, что под ним королева вся в красном. Она облачилась в цвет крови».

Люсиль отложила перо и задумалась о синонимах. Багряный. Алый. Карминный. Пурпурный. На ум приходили расхожие фразы: красной нитью, красная строка, красная цена.

Она снова взялась за перо.

«О чем она думала, когда преклонила голову на плаху? Пока ждала, что палач размахнется для удара? Мгновения шли, но ей они казались годами.

Первый удар снес затылок. Второй едва не отсек голову, залил эшафот королевской кровью. От третьего удара голова отлетела в сторону. Палач поднял ее и показал собравшимся. Было видно, что губы шевелятся, и так продолжалось еще четверть часа.

Хотя интересно, неужели кто-то стоял над окровавленными останками с карманными часами».

Вошла Адель, ее сестра.

– Пишешь дневник? А мне почитать можно?

– А можно и не читать.

– Ах, Люсиль, – рассмеялась сестра.

Адель упала в кресло. Не без труда Люсиль вернулась мыслями в настоящее и остановила взгляд на лице сестры. Она теряет красоту, подумала Люсиль. Будь я замужней женщиной, пусть ненадолго, уж я бы не стала проводить вечера в родительском доме.

– Мне одиноко и тоскливо, – сказала Адель. – В свет выходить еще рано, а к тому же эти отвратительные черные платья.

– Здесь скучно, – сказала Люсиль.

– Здесь всегда так, разве нет?

– Только сейчас Клод стал реже бывать дома. Поэтому Аннетта чаще видится со своим другом.

Между собой сестры непочтительно именовали родителей по именам.

– Как он поживает? – спросила Адель. – Все еще учит с тобой латынь?

– Я больше не учу латынь.

– Какая жалость. Больше нет предлога сидеть рядышком.

– Я ненавижу тебя, Адель.

– Неудивительно, – добродушно отозвалась сестра. – Только подумай, я уже взрослая. Подумай о деньгах, которые оставил мне мой бедный муж. О тех вещах, которые я знаю, а ты еще нет. Подумай, сколько удовольствий меня ждет, когда я сниму траур. Подумай, сколько на свете мужчин! Но нет, ты думаешь только об одном.

– Ничего я о нем не думаю, – сказала Люсиль.

– Подозревает ли Клод, что творится между ним и Аннеттой, между ним и тобой?

– Ничего особенного, разве не видишь?

– Вероятно, ты права, в грубом техническом смысле, – сказала Адель. – Но я не верю, что Аннетта продержится дольше, – она просто устанет сопротивляться. А ты, тебе было двенадцать, когда ты увидела его впервые. Я помню, как загорелись твои свинячьи глазки.

– Никакие они не свинячьи. И ничего они не загорелись.

– Он тебе подходит, – сказала Адель. – Правда, он не похож ни на что из жизни Марии Стюарт, зато ты будешь тыкать им в нос всем знакомым.

– Он даже не смотрит на меня, – сказала Люсиль. – Считает меня ребенком. Он понятия не имеет, что я здесь сижу.

– Спорим, имеет. Загляни-ка туда. – Адель махнула рукой в направлении закрытой двери гостиной. – А потом мне расскажешь. Только ты струсись.

– Я же не могу войти просто так!

– Почему? Если они сидят и мирно беседуют, им-то что за дело. Если нет – еще лучше!  
– А почему бы тебе самой туда не войти?

Адель воззрилась на нее, как на дурочку:

– У тебя лучше получится изобразить невинность.

С этим Люсиль была согласна, к тому же ей бросили вызов. Адель смотрела, как она идет к двери, бесшумно ступая по ковру атласными туфельками. Перед ее мысленным взором возникло странное тонкое лицо Камиля. Если ему не суждено принести нам погибель, думала она, я разобью свой хрустальный шар и займусь вязанием.

Камиль был пунктуален, пришел в два, как и было велено. Сразу переходя в наступление, она спросила, неужели ему больше нечем занять свои вечера? Он не счел нужным ответить, но понял, куда дует ветер.

Аннетта решила предстать перед ним в амплуа, которую ее друзья именовали «восхитительная женщина». Это означало, что она будет порхать по комнате, очаровательно улыбаясь.

– Итак, – промолвила она, – по правилам вы играть не желаете. Рассказываете про нас всем и каждому.

– Было бы что рассказывать, – заметил Камиль, взъерошив волосы.

– Клод скоро обо всем узнает.

– Если будет о чем узнавать. – Он задумчиво разглядывал потолок. – Как поживает Клод?

– Злится, – рассеянно ответила Аннетта. – Трясется от злости. Он вложил много денег в аферу с водой братьев Перье, а граф Мирабо написал против них памфлет и обрушил акции.

– Он думал об общественном благе. Я восхищаюсь Мирабо.

– Не сомневаюсь. Обанкротить человека, ославить его... ах, зачем вы меня отвлекаете, Камиль.

– Я думал, вам нравится, когда вас отвлекают, – сказал он серьезно.

Она держалась от него на безопасном расстоянии, для верности следя, чтобы между ним оставался столик.

– Это должно прекратиться, – заявила она. – Вам больше нельзя сюда приходить. Люди болтают, строят догадки. Господь свидетель, я устала. Что заставляет вас думать, будто я пожертвую счастливым браком ради тайной интрижки?

– Я просто знаю.

– Полагаете, я от вас без ума? Ваше самомнение...

– Аннетта, давайте сбежим. Сегодня же вечером.

Она почти сказала: ладно, давайте.

Камиль встал, словно и впрямь был готов помочь ей со сборами в дорогу. Она перестала расхаживать по комнате и остановилась напротив него. Затем посмотрела ему в лицо, одной рукой рассеянно поправляя юбку, другой коснулась его плеча.

Камиль шагнул к ней и положил руки ей на талию. Их тела соприкоснулись. Его сердце колотилось как бешеное. С таким сердцем, подумала она, долго ему не протянуть. Всего мгновение она смотрела Камилю в глаза, затем их губы несмело соединились. Прошло еще несколько секунд. Аннетта запустила пальцы в волосы на затылке любовника и притянула его голову к себе.

Сзади раздался хриплый возглас:

– Так, значит, это правда! Как выражается Адель, в грубом техническом смысле.

Аннетта отпрянула в сторону. Кровь отлила от лица. Камиль разглядывал ее дочь скорее с интересом, нежели с удивлением, однако и он слегка покраснел. Несомненно, Люсиль потрясло увиденное, ее голос срывался, она не могла двинуться с места.

– Не подумай, Люсиль, в этом не было ничего грязного, – сказал Камиль. – Одна печаль.

Люсиль развернулась и выскочила из гостиной. Аннетта выдохнула. Еще несколько минут, думала она, и кто знает, чем бы все кончилось. Я нелепая, глупая, ненормальная женщина.

– А теперь, – проговорила она, – убирайтесь прочь из моего дома, Камиль. И если посмеете приблизиться ко мне хотя бы на милю, я вызову полицию.

Камиль выглядел слегка испуганным. Он медленно попятился к двери, словно перед особой королевской крови. Ей хотелось крикнуть: и что ты теперь будешь делать? Но, как и он, Аннетта была охвачена предчувствием грядущей беды.

– Это ваше самое большое безумство? – спросил Камиля д'Антон. – Или нам ждать чего похлеще?

Он и сам не понимал, как стал доверенным лицом Камиля. То, чем тот с ним делится, всегда было похоже на выдумку, опасно и немного – он смакует словцо – аморально.

– Вы же сами мне признавались, – сказал Камиль, – что, положив глаз на Габриэль, решили прежде умастить ее мать. Не отпирайтесь, все видели, как вы бахвалились по-итальянски и вращали глазами, изображая южный темперамент.

– Но так делают все! Это безвредная и необходимая условность, она и близко не сравнится с тем, что замыслили вы. Насколько я понимаю, вы задумали переметнуться к дочери, чтобы затем подкатиться к матери?

– Не знаю, что значит «переметнуться», – сказал Камиль. – Я думаю, лучше будет, если я на ней женюсь. Войду в семью. Аннетта не сдаст зятя полиции.

– А вас стоило бы взять под стражу, – смиренно заметил д'Антон. – Посадить под замок. – И он покачал головой.

На следующий день Люсиль получила письмо. Она никогда не узнала, как его доставили – письмо пришло из кухни. Должно быть, его передали кому-то из слуг. Письмо следовало отдать мадам, но молоденькая служанка не придумала ничего лучше, чем вручить письмо адресату.

Прочтя письмо, Люсиль перевернула и разглядела страницы. И снова прочла. Затем сложила и сунула письмо в том пасторальных стишков, но тут же испугалась, что оно затеряется, вытащила и вложила в «Персидские письма» Монтескье. Письмо казалось ей таким удивительным, словно и впрямь пришло из Персии.

Поставив книгу на полку, она поняла, что непременно снова должна взять его в руки. Почувствовать бумагу на ощупь, увидеть витиеватые черные строчки, пробежать глазами по фразам – Камиль писал превосходно, просто чудесно. От некоторых оборотов у нее перехватывало дыхание. Казалось, фразы воспаряют над бумагой, абзацы задерживают и рассеивают свет: каждое слово словно нанизано на нить, и каждое слово – бриллиант.

О господи. Она со стыдом вспомнила свой дневник. И я воображала, будто пишу прозу...

Люсиль пыталась заставить себя не думать о содержании письма. Ей не верилось, что письмо адресовано ей, хотя здравый смысл подсказывал, что ошибки быть не может.

Это она – ее душа, ее лицо, ее тело вдохновили эту чудесную прозу. Ты не можешь видеть свою душу со стороны, с телом и лицом ничуть не лучше. Зеркала висят высоко, наверняка отец давал указания, как их развешивать. В зеркалах она видела только свою, словно отрезанную от туловища, голову, а чтобы разглядеть шею, приходилось вставать на цыпочки. Люсиль знала, что весьма миловидна. Они с Адель были очаровательны, из тех дочерей, на которых отцы не надыхаются. Все изменилось в прошлом году.

Люсиль знала, что множеству женщин красота стоит усилий, красота неотделима от усидчивости и изобретательности. Красота требует искусства и преданности, своеобразной честности и несуетности, так что, не будучи добродетелью, вполне может почитаться достоинством.

Однако она никогда не стремилась к обладанию этим достоинством.

Порой ее раздражало это новое качество, как иных людей раздражает собственная лень или привычка грызть ногти. Она предпочла бы поработать над собой, но ей этого не требовалось. Люсиль чувствовала, что отдаляется от остальных людей, перемещаясь в мир, где ее оценивают по тому, на что она не в силах повлиять. Приятельница ее матери заметила (как обычно, Люсиль подслушивала): «Девушки, которые так выглядят в ее возрасте, обычно увядают к двадцати пяти». Люсиль не могла представить себя двадцатипятилетней. Ей было шестнадцать; красота, неоспоримая, как родимое пятно.

Цвет ее кожи был нежен, как у женщины в башне из слоновой кости, поэтому Аннетта убедила дочь пудрить темные волосы и подкалывать ленты и цветы вверх, чтобы подчеркнуть безукоризненный овал лица. Хорошо, что ее темные глаза нельзя было вытащить и вставить на их место голубые фарфоровые. Иначе Аннетта так бы и сделала, ей бы хотелось, чтобы на нее смотрело такое же кукольное личико, как ее собственное. Люсиль не раз воображала себя фарфоровой куклой из материнского детства, стоящей на высокой полке, облаченной в шелка: куклой, слишком хрупкой, чтобы доверить ее грубым и невоспитанным современным детям.

В основном ее жизнь была скучной. Люсиль помнила времена, когда самой большой радостью в жизни был пикник, поездка в деревню, лодочная прогулка жарким летним полднем. Когда нет уроков, привычный распорядок нарушен и забываешь, какой нынче день недели. Она предвкушала пикник с возбуждением, почти с благоговением, вскакивала ни свет ни заря – убедиться, что погода не подведет. Эти несколько часов, когда жизнь состоит из одних удовольствий и ты думаешь: вот оно, счастье. Потом тебе остается лишь втайне тосковать об этих удивительных часах. А когда вечером, усталая, возвращаешься домой и жизнь входит в прежнюю колею, ты говоришь себе: «На прошлой неделе, в деревне, я была счастлива».

С годами Люсиль переросла воскресные пикники. Река никогда не менялась, а если шел дождь и приходилось сидеть под крышей, это уже не казалось ей трагедией. После детства (после того, как она сказала себе, что ее детство кончилось) воображаемые события стали для нее куда увлекательнее того, что происходило в доме Дюплесси. А когда воображение покидало ее, Люсиль вяло бродила по комнатам и в голове теснились дурные мысли. Она радовалась, когда приходило время ложиться, и неохотно вставала по утрам. Такой была ее жизнь. Люсиль откладывала в сторону дневник, ужасаясь пустоте своих дней и бессмысленности будущего.

Или схватить перо: Анна Люсиль Филиппа, Анна Люсиль. Как огорчительно, что я это пишу, как огорчительно, что столь утонченная и образованная девушка не может найти ничего лучшего – ее не прельщают ни музицирование, ни вышивка, ни бодрящие вечерние прогулки, – чем мысли о смерти, болезненные выпретенные фантазии, кровавые желания, образы, о Господи, веревки, кинжалов и любовника ее матери с его неживой бледностью и чувственными синюшными губами. Анна Люсиль. Анна Люсиль Дюплесси. Измени имя, не форму, измени к худшему, и пусть будет хуже, зато веселее. Люсиль не обманывала себя, она улыбалась, запрокинув голову и демонстрируя тонкую белую шею, которая, как надеялась мать, разобьет сердца ее поклонников.

Вчера Адель завела этот странный разговор. Затем Люсиль вошла в гостиную и увидела, как ее мать просовывает язык между губами своего любовника, запускает пальцы в его волосы, покрасневшись, трепещет всем телом в его тонких изящных руках. Люсиль помнила эти руки, помнила, как указательный палец Камиля касался бумаги, касался ее букв: Люсиль, детка, тут творительный падеж, и я боюсь, у Юлия Цезаря и в мыслях не было того, что предполагает твой перевод.

Сегодня любовник ее матери предложил ей руку и сердце. Когда что-то – благословенное, пусть и невозможное событие – выдергивает нас из рутины будней, тогда, воскликнула она, все меняется в одночасье.

Клод:

– Разумеется, это мое последнее слово. Надеюсь, у нее хватит здравого смысла смириться с моим решением. Не понимаю, что за блажь на него нашла. А ты, Аннетта? Раньше надо было делать предложение. Признаюсь, при первом знакомстве он произвел на меня хорошее впечатление. Он весьма умен, но что проку в уме, если нет понятия о морали? Кому нужен его ум? И у него своеобразная репутация... нет, нет и нет. И слышать об этом не желаю.

– Ты прав, – согласилась Аннетта.

– Честно говоря, удивлен, как у него хватило наглости.

– И я удивлена.

Клод рассуждал, не отослать ли Люсиль к родственникам, но тогда люди, которым только дай волю посплетничать, скажут, что она совершила нечто предосудительное.

– А что, если...

– Если? – отозвалась Аннетта.

– Если я познакомлю ее с несколькими достойными молодыми людьми?

– Шестнадцать рановато для замужества. Она и так уже много о себе воображает. Но делай как знаешь, Клод. Ты глава семьи, ты ее отец.

Аннетта послала за дочерью, предварительно приняв для храбрости большую порцию коньяка.

– Письмо.

Аннетта прищелкнула пальцами.

– Я его с собой не ношу.

– И где же оно?

– В «Персидских письмах».

Аннетту охватила неуместная веселость.

– Возможно, тебе следовало вложить его в мой том «Опасных связей».

– Не знала, что он у тебя есть. Дашь почитать?

– Разумеется, не дам. Хотя я могу последовать совету из предисловия и отдать тебе эту книгу в день твоего замужества. Когда спустя какое-то время мы с твоим отцом найдем тебе мужа.

Люсиль промолчала. Как успешно она скрывает – с помощью всего лишь чуточки коньяка, – какой унижительный удар нанесен ее гордости. Почти хотелось ее с этим поздравить.

– Он приходил к твоему отцу, – сказала Аннетта. – Сказал, что написал тебе. Ты его больше никогда не увидишь. Если придут еще письма, немедленно отдай их мне.

– И он с этим согласился?

– Какая разница.

– А отцу не пришло в голову спросить меня?

– С какой стати? Ты еще ребенок.

– Я могла бы кое-что ему рассказать. О том, что видела собственными глазами.

Аннетта печально улыбнулась:

– А ты жестока, дорогая моя, не находишь?

– Это справедливый обмен. – У Люсиль перехватило дыхание. Новые отношения с матерью так пугали ее, что она еле смела говорить. – Ты дашь мне время подумать. Это все, о чем я прошу.

– И взамен ты предлагаешь мне твое младенческое молчание? Как ты думаешь, Люсиль, что ты в действительности знаешь?

– Прежде всего, я никогда не видела, чтобы отец так тебя целовал. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь кого-нибудь так целовал. Должно быть, это доставило тебе удовольствие.

– Кажется, это доставило удовольствие тебе. – Аннетта встала с кресла, пересекла комнату, подойдя к вазе с оранжевыми цветами, выдернула их из вазы и принялась снова рас-

ставлять по одному. – Придется отправить тебя в монастырь, – сказала она. – Еще есть время завершить твоё образование.

– Рано или поздно ты меня оттуда заберешь.

– Но пока ты будешь распевать хоралы, тебе будет недосуг шпионить и манипулировать людьми. – Аннетта невесело рассмеялась. – Полагаю, пока ты не вошла в гостиную, ты считала меня умудренной и правильной? Думала, я никогда не ошибаюсь?

– Нет, до того как я вошла в гостиную, я думала, какая же у тебя скучная жизнь.

– Я попросила бы тебя выбросить из головы все, что случилось в последние дни. – Аннетта замолчала, сжав розу в ладонях. – Но куда там, ты упряма, тщеславна и будешь до последнего цепляться за то, что напрасно считаешь своим преимуществом.

– Я за тобой не шпионила. – Люсиль было крайне важно прояснить этот момент. – Адель подговорила меня войти в гостиную. А если я и впрямь хочу за него выйти?

– Забудь об этом, не думай, – ответила мать. Белый, как снег, цветок упал на ковер.

– Не думать? Человеческому разуму нет преград.

Люсиль подняла с пола розу с длинным стеблем, подала матери, слизнула с пальца капельку крови. Могу думать, могу не думать. В любом случае это письмо не последнее. Она не станет прятать письма в томе Монтескье, а будет хранить их в труде Мабли 1768 года «Сомнения о естественном порядке человеческих обществ». Которые, как ей казалось, внезапно обрели вес.

## Глава 3

### Максимилиан, жизнь и времена (1787)

Журнал «Французский Меркурий», июнь 1783 года: «Мсье де Робеспьер, молодой адвокат выдающихся способностей, проявил при ведении этого высоконаучного дела красноречие и эрудицию, свидетельствующие о его несомненных талантах».

Я вижу тернии среди роз,  
В букетах, что приносишь ты...

*Максимилиан де Робеспьер. Стихотворения*

Он так долго таскал с собой эту вырезку, что она успела пожелтеть. Максимилиан размышлял, как бы ее сохранить, но лист успел замахриться по краям. Он выучил заметку наизусть, но, если повторять ее по памяти, скажут: ты сам ее сочинил, а если держишь вырезку в руке, можешь не сомневаться – это мнение другого человека, это написано парижским журналистом и напечатано в типографии. И никто не скажет, что ты это выдумал.

В журнале напечатали довольно пространный отчет об этом судебном деле, несомненно представляющем общественный интерес. Мсье де Виссери из Сент-Омера приобрел молниеотвод. За установкой наблюдала хмурая толпа местных невежд, а когда работы были завершены, толпа повалила к мэрии, где объявила, что эта штукавина привлекает молнии и ее следует немедленно убрать. Зачем мсье де Виссери привлекать молнии? Он точно сговорился с дьяволом.

Имеет ли право гражданин устанавливать молниеотвод? Обиженный домовладелец посоветовался с мэтром де Бюиссаром, ведущим адвокатом местной коллегии, человеком с сильной научной жилкой. В те времена Максимилиан с ним приятельствовал. Его коллега пришел в сильнейшее возбуждение: «Поймите, тут дело в принципе. Есть те, кто пытается остановить прогресс и замедлить распространение научных знаний, но мы, люди просвещенные, не должны с таким мириться. Не хотите ли принять участие в деле и написать для меня несколько писем? Не обратиться ли нам к Бенджамину Франклину?»

Предложения, советы, научные комментарии хлынули как из ведра. Бумаги валялись по всему дому. «Этот Марат, – сказал де Бюиссар, – спасибо ему, что проявил к делу живой интерес, но нам не следует напирать на его гипотезу. Я слышал, в академии его не жалуют». Когда наконец дело представили городскому совету, де Бюиссар стоял в сторонке, позволив отдуваться де Робеспьеру. Берясь за это дело, старый адвокат не предполагал, какого напряжения сил оно потребует. Напротив, его молодой коллега как будто и не ощущал никакого напряжения – де Бюиссар объяснял это возрастом.

После победы они устроили праздничный ужин. Приходили письма с благодарностями – сказать, что их завалили поздравлениями, было бы преувеличением, однако дело не прошло незамеченным. Робеспьер сохранил все бумаги, пространное свидетельство доктора Марата, собственную заключительную речь с внесенными в последний момент правками на полях. И спустя месяцы его тетушки могли вытащить газету и предъявить гостям: «Вы читали о молниеотводе, который наш Максимилиан защитил с таким блеском?»

Макс спокойный, мягкий и уживчивый молодой человек, изящно сложен, у него большие светлые глаза изменчивого сине-зеленого цвета. Он улыбочив, бледнокож, опрятно одет, и одежда сидит на нем превосходно. Его каштановые волосы неизменно причесаны и напудрены.

В былые времена он не мог позволить себе уделять много внимания внешнему виду, теперь забота о внешности – единственная роскошь, которую он себе позволяет.

Его распорядок продуман до мелочей. Встает в шесть, корпит над бумагами до восьми. В восемь приходит цирюльник. Затем легкий завтрак: свежий хлеб и чашка молока. К десяти он обычно в суде. После заседания пытается ускользнуть от коллег и возвращается домой как можно раньше. Его желудок еще возмущен после утренних волнений, он перекусывает фруктами, выпивает чашку кофе и немного изрядно разбавленного красного вина. Как могут коллеги после утренних перепалок выскакать из суда с криками, хлопая друг друга по спине? А затем расходиться по домам, чтобы накачиваться вином, закусывая ломтями красного мяса? Это не для него.

После перекуса, и в дождь, и в жару, он отправляется на прогулку, потому что его псу Бруну давно пора побегать по полям и оврагам. Он позволяет собаке тащить себя по улицам, лесам и лугам. Возвращаются они уже не в столь респектабельном виде. Сестра Шарлотта говорит ему: «Только не вздумай брать с собой этого грязного пса».

Брун плюхается на пол под хозяйской дверью. Робеспьер закрывает дверь и работает до семи или девяти. Порой дольше, если завтра ждет крупное дело. Наконец, убрав бумаги, он может пожевать перо и сочинить несколько строк для следующего заседания местного литературного общества. Он признаёт, что это не поэзия, а искусно состряпанные безделушки. Порой совершеннейшая ерунда вроде «Оды к пирогу с вареньем».

Он много читает. Раз в неделю посещает заседание Аррасской академии. Предполагается, что члены общества обсуждают историю, литературу, науку и текущие события. Несомненно, некоторое время они уделяют всему вышеперечисленному, но также обмениваются сплетнями, устраивают браки и затевают склоки.

В свободные вечера он пишет письма. Часто Шарлотта просит его проверить счета, тетушки обижаются, если он не навещает их хотя бы раз в неделю. С недавних пор они разъехались, поэтому теперь в неделю у него выпадают еще два вечера.

С тех пор как он новоиспеченным адвокатом с весьма скромными запросами вернулся из Парижа в Аррас, многое изменилось. В 1776 году, когда шла американская Война за независимость, тетушка Элали, к всеобщему изумлению, объявила, что выходит замуж. У нас появилась надежда, рассуждали приходские старые девы. Тетушка Генриетта решила, что Элали выжила из ума: Робер Дезорти был вдовцом с детьми, включая Анаис, девицу на выданье. Но не прошло и шести месяцев, как притворный гнев тетушки Генриетты уступил место тайным вздохам, неприличному хихиканью и двусмысленным намекам. На следующий год она вышла за Габриэля дю Рю, беспокойного крикуна пятидесяти трех лет от роду. Максимилиан был рад, что новость застала его в Париже и он не смог приехать.

Для крестницы тетушки Генриетты не было ни свадьбы, ни торжества. Сестра Максимилиана (тоже Генриетта) никогда не отличалась крепким здоровьем. Она задыхалась, плохо ела, одна из тех непостижимых девиц, на которых все орут и которые носа не высовывают из книжек. Однажды утром – он узнал об этом через неделю – ее нашли на подушке, пропитанной кровью. У Генриетты случилось кровотечение, пока этажом ниже тетушки с Шарлоттой играли в карты. Когда они ужинали, ее сердце остановилось. Генриетте было девятнадцать. Максимилиан любил ее и надеялся, что они подружатся.

Через два года после неожиданных свадеб умер дедушка, оставив пивоварню дяде Огюстену Карро, а наследство разделив между выжившими внуками: Максимилианом, Шарлоттой и Огюстеном.

С одобрения аббата юный Огюстен получил стипендию старшего брата в лицее Людовика Великого. Огюстен превратился в симпатичного, ничем не примечательного подростка, был усерден, но способностями не блистал. Максимилиан тревожился, сумеет ли брат соответство-

вать высоким требованиям лица. Он всегда знал, что при их происхождении рассчитывать можно только на свои мозги, и надеялся, что и Огюстен это понимает.

Вернувшись в Аррас, он поселился у тети Генриетты и ее шумного мужа. Не прошло и недели, как тот напомнил Максимилиану про его долг. Точнее, деньги задолжал его отец Франсуа – тете Генриетте, тете Элали, дедушке Карро, – Максимилиан не решался спросить, сколько именно. Его часть дедова наследства пошла на уплату долгов Франсуа. Почему родные так себя повели? Какая бестактность, какая алчность. Могли бы дать ему год отсрочки, пока он не заработает немного денег. Он заплатил, не споря, и съехал, испытывая неловкость по отношению к тете Генриетте.

Будь они должны ему, он не стал бы требовать денег – ни через год, никогда. Все только и говорили о Франсуа: Франсуа то, Франсуа се, твой отец в твои годы делал то и это. Бога ради, думал он, я не мой отец. Потом из лица вернулся неожиданно повзрослевший Огюстен. Он был несдержан на язык, бездельничал и волочился за женщинами; впрочем, без особого успеха. Тетушки не без восхищения перешептывались: «Вылитый отец».

А вскоре из монастырской школы вернулась Шарлотта. И они стали жить вместе в доме на улице Раппортер: Максимилиан зарабатывал, Огюстен бездельничал, Шарлотта вела хозяйство, отпуская колкие замечания относительно обоих братьев.

Приезжая на каникулы во время учебы в лицее Людовика Великого, Максимилиан никогда не пренебрегал светскими обязанностями – навещал епископа, аббата и школьных учителей, чтобы поведать им о своих успехах. Не то чтобы он наслаждался их обществом, но он понимал, что в будущем ему пригодится их покровительство. И по возвращении домой его усилия были вознаграждены. Пусть семья была о нем невысокого мнения, в городе думали иначе. Его пригласили стать членом Аррасской коллегии адвокатов и приняли там как родного. Ибо, разумеется, он совершенно не походил на отца, да и жизнь не стояла на месте. Максимилиан был рассудителен, опрятен, педантичен и, несомненно, оправдал доверие города, аббата и уважаемых родственников, которые его вырастили.

Если бы еще этот невозможный дю Рю перестал поминать былое... Если бы Максимилиана не тошнило от некоторых разговоров, намеков и мыслей. Словно ты совершил преступление. В конце концов, ты не преступник, ты судья.

За первый год он провел пятнадцать дел – в среднем больше, чем местные адвокаты. Он приводил документы в порядок за неделю до процесса, но перед первым слушанием мог засидеться за письменным столом до полуночи, а то и до рассвета. Мог отринуть все, что успел сделать раньше, заново исследовать факты, повторно выстроить защиту от начала до конца. Его мозг напоминал сундук скряги: если внутрь что-то попадало, то оседало там навсегда. Он знал, что коллеги его опасаются, но что он мог с этим поделать? Пусть знают, он не успокоится, пока не станет очень хорошим адвокатом.

Он начал советовать своим клиентам пойти на мировое соглашение, не доводя дело до суда. Это было не выгодно ни ему, ни адвокату противной стороны, но сберегало клиентам время и деньги. «Другие не так разборчивы», – говорил Огюстен.

Спустя четыре месяца практики его по совместительству назначили судьей. Это было честью, особенно в столь молодом возрасте, но Максимилиан сразу почувствовал недоброе. В первые недели на новом посту он, не стесняясь, говорил о недостатках, которые замечал, и мэтр Либорель, который поручился за него при вступлении в адвокатскую коллегию, решил, что его протезе совершил ряд оплошностей. Мэтр говорил ему (как говорили все): «Разумеется, реформы назрели, но здесь, в Артуа, мы предпочитаем не торопить события». Так начались недоразумения. Бог свидетель, он не хотел задевать ничьих чувств, но, кажется, преуспел в этом. Так было ли новое назначение признанием его заслуг? Или подкупом, взяткой, способом

смягчить его судебные решения? Возможно, оно было наградой, одолжением или даже своего рода компенсацией... компенсацией за еще не причиненный ущерб?

Наконец этот день настал: день, в который ему предстояло вынести приговор. Он сидел перед открытыми ставнями, глядя, как ночь растекается по небу. Кто-то поставил поднос с ужином поверх бумаг. Он встал и закрыл дверь. К еде не притронулся. Ждал, когда она превратится в труху у него перед глазами, смотрел на зеленую кожицу яблока, словно она давно сгнила.

Можно умереть так, как умерла его мать, когда о твоей смерти предпочитают не вспоминать. Однако он помнил ее лицо, когда она сидела в кровати, опершись спиной на валик в ожидании, когда ее зарежут, помнил, как служанка сказала, что теперь простыни придется сжечь. Или так, как умерла Генриетта: в одиночестве, когда твоя кровь внезапно хлынет на белую наволочку, не в силах сдвинуться с места, не в силах позвать на помощь, оцепенев от ужаса, – пока этажом ниже люди болтают и угощаются пирожными. Можно умереть, как дедушка Карро: немощным, парализованным, вызывающим отвращение: умереть, тревожась о завещании, поучая помощника, сколько надо выдерживать древесину для бочонков, временами переключаясь на родных, отчитывая их за проступки, совершенные тридцать лет назад, браня дорогую умершую дочь за неприлично раздутый живот. Дедушка Карро был не виноват – виновата старость. Однако Максимилиан не мог вообразить себя старым, не мог представить, как будет стареть.

А если тебя вешают? Ему не хотелось об этом думать. Смерть в петле может длиться до получаса.

Максимилиан решил помолиться: несколько молитв, чтобы привести мысли в порядок. Однако скользкие между пальцами четки напоминали о веревке, и он осторожно уронил их на пол, продолжая считать: «*Pater noster, qui es in coeli, Ave Maria, Ave Maria*» и благочестивое дополнение: «*Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Amen*»<sup>6</sup>. Священные слоги сливались, образуя абсурдные слова, выворачиваясь наизнанку, обесмысливаясь. Да был ли в них смысл? Господь не собирался им руководить. Не собирался ему помогать. В такого Бога он не верил. Я не атеист, говорил он себе, просто повзрослел.

Рассвет. Максимилиан услышал цокот копыт под окном, кожаный скрип упряжи, фыркание лошади, везущей повозку с овощами для тех, кто доживет до обеда. Священники протирали сосуды для ранней мессы, а слуги внизу вставали, умывались, кипятили воду и разжигали очаг. В лицее Людовика Великого уже начался первый урок. Где они теперь, его одноклассники? Где Луи Сюло? С привычным сарказмом торит свой путь в жизни. Где Фрерон? Прокладывает путь в обществе. А Камиль еще спит в темном сердце города; спит, не задумываясь о своей, вероятно, проклятой душе, невидимой под мышцами и костями.

Под дверью заскулил Брун. Мимо прошла Шарлотта, велел псу убираться. Брун недовольно затрусил вниз по лестнице.

Максимилиан открыл дверь, впуская цирюльника. Тот взглянул в лицо своему постоянному и весьма любезному клиенту и решил, что сегодня лучше рта не открывать. Часы тикали, неуклонно и без сожалений продвигаясь к десяти.

В последнее мгновение до Максимилиана дошло, что ему вовсе не обязательно идти в суд. Он может просто остаться дома, заявив, что сегодня не придет. Его подождут минут десять, отправят секретаря на улицу, глянуть, не идет ли, затем напишут ему, и он ответит, что сегодня его не будет.

Его же не потащат силком? Не станут силой выбивать из него приговор?

---

<sup>6</sup> Отче наш, иже еси на небесех! Богородице Дево, радуйся! Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь (лат.).

Но ведь это же закон, устало подумал Максимилиан, и если он не способен исполнять закон, ему следует подать в отставку. Следовало подать в отставку еще вчера.

Три пополудни, последствия. Его тошнит. Прямо здесь, на обочине дороги. Он сгибается. Пот катится по спине. Он падает на колени, его выворачивает наизнанку. Глаза застилает туман, горло саднит. Но желудок пуст – Максимилиан не ел уже сутки.

Он протягивает руку, встает с колен и поправляет одежду. Вот бы кто-нибудь подхватил его под локоть, помог справиться с дрожью! Но когда тебе плохо, рядом обычно никого не бывает.

Со стороны – если бы кто-нибудь наблюдал его со стороны – видно, что он спотыкается, что его мотаает из стороны в сторону. Он пытается выровнять шаг, однако ноги не слушаются. Презренное тело решило преподать ему урок: будь честен перед собой.

Это Максимилиан де Робеспьер, адвокат, неженатый, привлекательный молодой человек, у которого впереди вся жизнь. Сегодня вопреки своим самым глубоким убеждениям он приговорил преступника к смерти. А теперь за это расплачивается.

Человек способен все пережить, и он преодолевает себя. Даже в Аррасе можно найти если не друзей, то союзников. Жозеф Фуше учился в коллеже ораторианцев, собирался стать священником, но перерос это желание. Он преподавал физику и интересовался всеми научными новшествами. Шарлотта часто приглашала его на обед. Вероятно, он собирался сделать ей предложение, – кажется, они неплохо спелись. Про себя Макс удивлялся: неужели девушкам может нравиться Фуше с его тонюсенькими ножками и глазами почти без ресниц? Впрочем, кто их знает? Это ему не нравился Фуше, а Шарлотте виднее, с кем строить жизнь.

Был еще некий Лазар Карно, инженер, гарнизонный капитан. Старше Максимилиана, замкнутый, страдающий из-за того, что, будучи человеком незнатным, не мог рассчитывать на продвижение по службе. Карно за компанию ходил с ним на заседания Академии и, пока там обсуждали сонеты, думал о математических формулах. Временами он раздражался тирадой о плачевном состоянии армии, вызывая переглядывания и смешки.

Слушал его только немного опешивший Максимилиан, ничего не смысливший в военных материях.

Когда в Академию впервые выбрали даму, мадемуазель де Кералио, он произнес речь в ее честь, посвященную талантам женщин, их роли в литературе и искусстве, после которой она спросила, почему бы ему не называть ее Луизой? Она писала романы – тысячи слов в неделю. Он завидовал такой легкости. «А теперь послушайте, – говорила она, – и скажите, что вы об этом думаете».

Он не сказал, что думает, ведь авторы так обидчивы. Луиза была миловидна. Чернила никогда не оттирались с ее пальчиков до конца.

– Я отправляюсь в Париж, – заявила она однажды, – при всем уважении к вам я не могу больше прозябать в этом болоте. – Она постучала по стопке рукописей у спинки кресла. – О мрачный и непостижимый Максимилиан де Робеспьер, почему бы вам тоже не поехать в Париж? Будем убивать вечера, шляясь по пикникам. Будем давать повод для слухов.

Луиза принадлежала к настоящей знати.

– Тут даже не о чем думать, – сказали тетушки. – Бедняжка Максимилиан.

– Из простых она или из благородных, – заметила Шарлотта, – эта девчонка шлюха. Вообразите, хочет, чтобы мой брат ни с того ни с сего сорвался с места и поехал в Париж.

Действительно, только вообразите. Луиза собрала вещи и укатила в будущее, а у него осталось смутное ощущение пропущенного перекрестка, развилки на дороге, о которой вспоминаешь потом, когда окончательно собьешься с пути.

Оставалась Анаис, падчерица тети Элали. Обе тетушки выделяли ее среди остальных кандидаток. У Анаис хорошие манеры, говорили они.

В один прекрасный день мать одного бедного канатчика возникла у его порога с рассказом о сыне, которого посадили в тюрьму, потому что бенедиктинцы из Аншенского аббатства обвинили его в воровстве. Она уверяла, что обвинение ложно, что эконоом аббатства Дом Броньяр нечист на руку, к тому же пытался заманить в постель сестру канатчика, и бедная девушка была такая не одна.

Все ясно, сказал он, успокойтесь. Присядьте. И давайте сначала.

У него становилось все больше таких клиентов. Обычных мужчин – а еще чаще женщин, – чьи права были ущемлены. Разумеется, о гонораре речи не шло.

История канатчика выглядела слишком жуткой для правды. Тем не менее он сказал: разберемся. Не прошло и месяца, как эконоом был под следствием, а канатчик предъявлял иск к монастырю. Как думаете, кого наняли бенедиктинцы? Мэтра Либореля, его давнего поручителя. Максимилиан заявил: когда на кону правда, благодарность его не остановит.

Пустые слова эхом прокатились по Аррасу. Город разделился, и большинство заслуженных адвокатов встали на сторону Либореля. Борьба была грязной, и, разумеется, в конце монахи сделали именно то, что Максимилиан предсказывал с самого начала: предложили канатчику столько денег, сколько ему не заработать и за несколько лет, лишь бы отказался от иска и убрался восвояси.

Неудивительно, что после этого процесса для него все переменялось. Он не мог забыть, как дружно все на него набросились, как в газетах обзывали его антиклерикалом. Его? Протеже аббата? Епископского золотого мальчика? Что ж, превосходно. Если они видят его таким, он больше не намерен облегчать им жизнь, никому не нужны его обходительность и отзывчивость. Этот постоянный зуд – пытаться быть хорошим для всех – ни к чему доброму не приводит.

Аррасская академия избрала его председателем, но он успел утомить всех разглагольствованиями о правах незаконнорожденных. Можно подумать, во вселенной нет других тем, жаловался один из членов Академии.

«Если бы твои родители вели себя подобающим образом, – говорил ему дедушка Карро, – ты никогда бы не появился на свет».

Изучая конторские книги, Шарлотта замечала, что его совесть с каждым месяцем обходится им все дороже.

– Разумеется, – сказал он. – А чего ты ожидала?

Каждые несколько недель она наносила ему просчитанные удары, доказывая, что он ничего не смыслит в хозяйстве.

– Это жилище, – говорила Шарлотта, – даже нельзя назвать домом. У нас никогда не было дома. Бывают дни, когда ты так занят, что из тебя слова не вытянешь. Словно меня здесь нет. Я хорошая хозяйка, но ты ни разу не оценил моих стараний. Я отлично готовлю, но ты равнодушен к еде. Я приглашаю гостей, но, когда мы сдаем карты или собираемся что-нибудь обсудить, ты удаляешься в угол и начинаешь делать пометки на полях книг.

Он ждал, когда ее гнев утихнет. В те дни гнев был ее естественным состоянием. Фуше предложил Шарлотте руку и сердце – или что там он ей предложил, – а после оставил несолоно хлебавши, выставив дурой. Максимилиан гадал, не следует ли вмешаться, но его убедили, что от такого человека нужно держаться подальше.

– Прости, – сказал он, – я постараюсь быть более общительным. Просто у меня много работы.

– А тебе за нее платят?

Шарлотта уверяла, что в городе у него репутация бессребреника и добряка, что его удивляло – сам он считал себя хитроумным и бескомпромиссным. Она обвиняла его в том, что он пренебрегает людьми, которые могут помочь ему в карьере; пришлось снова объяснять ей, почему он не может принять их помощь, в чем состоят его обязанности и к чему он призван. С меня хватит, заявила Шарлотта. В конце концов, счета нужно оплачивать. На столе должна стоять еда.

Шарлотта станет заговаривать об этом снова и снова. Так недолго довести себя до истерических припадков. Наконец всплывет то, что действительно ее тревожит:

– Ты женишься на Анаис. А когда ты на ней женишься, ты выгонишь меня из дома.

Теперь в суде он произносил то, что люди называли «политическими речами». Почему нет? Всё на свете есть политика. Система прогнила. Правосудие продажно.

30 июня 1787 года.

Постановить, что речи, которые подвергают сомнению авторитет суда и закона, являясь оскорбительными для судей, и опубликованные за подписью «Де Робеспьер, судебный адвокат», должны быть изъяты. Декрет следует объявить в городе Аррасе.

*Постановление мировых судей, Бетюн*

Время от времени тонкий лучик света рассеивал крошечную тьму. Однажды, когда он выходил из суда, молодой адвокат по фамилии Эрманн подошел к нему и сказал:

– Знаете, де Робеспьер, я начинаю думать, что вы правы.

– В чем?

Молодой человек удивился вопросу.

– Во всем!

Он написал эссе для Академии Меца:

Главная движущая сила государства есть добродетель, любовь к закону и стране; из этого следует, что все личные интересы и отношения должны отступить перед всеобщим благом... Каждый гражданин обладает частицей высшей власти... и поэтому не вправе оправдывать даже лучшего друга, если безопасность государства требует его наказать.

Написав это, он отложил перо, перечитал и подумал: все это хорошо, легко мне говорить, ведь у меня нет лучшего друга. А впрочем, почему нет? У меня есть Камиль.

Он отыскал его последнее письмо. Довольно путаное, написанное по-гречески, какие-то шашни с замужней женщиной. Обращаясь к мертвому языку, Камиль прятал от себя свое смущение и горечь. Заставляя адресата переводить, он словно говорил: поверь, для меня моя жизнь не более чем изысканное развлечение, нечто, существующее, лишь когда оно описано и отправлено по почте. Макс прикрыл письмо ладонями. Как бы я хотел, чтобы твоя жизнь наладилась, Камиль. Если бы я мог охладить твою голову, а кожу сделать толще. Как бы я хотел увидеть тебя снова... Если бы только все вместе сошлось к лучшему.

Теперь это его ежедневная работа – описывать в подробностях беззакония системы и мелкие проявления тирании здесь, в Аррасе. Бог свидетель, он пытался приспособиться, пытался смириться. Был здравомыслящим и консервативным, с почтением относился к опытным коллегам. И если порой он бывал резок в речах, то потому лишь, что хотел застыдить их, с тем чтобы они исправились. На самом деле он не резок и не жесток. Однако он требует от них невозможного – признать, что система, внутри которой они трудились всю жизнь, лжива, дурно устроена и безнравственна.

Порой, сталкиваясь с нечестным адвокатом противной стороны или надутым судьей, он испытывает желание ударить их кулаком в лицо, желание столь сильное, что у него ноют шея и плечи. Каждое утро он открывает глаза и говорит себе: «Господи, дай мне силы пережить этот день». И молится, чтобы ему избавиться от бесконечных вежливых контробвинений, от того, что он впустую тратит молодость, храбрость и ум. Макс, ты не должен возвращать гонорар этому человеку. Он беден, мне придется это сделать. Макс, что ты хочешь на ужин? Понятия не имею. Макс, в какой из дней ты был счастлив? Он мечтает, как будет тонуть, все глубже и глубже погружаясь в прозрачное море.

Максимилиан старается никого не обижать. Ему хочется думать, что по природе он терпим и благоразумен. Он может отступить, увильнуть, уклониться от предмета тяжбы. Может, загадочно улыбнувшись, отказаться от дальнейшего преследования другой стороны. Придираться к мелочам или жонглировать словами. Это и есть моя жизнь, думает он, и все-таки это не жизнь. Ибо приходит время, когда ты должен ответить на прямой вопрос, выбрать одно из двух: хочешь ли ты революции или нет, де Робеспьер? Да, черт подери, черт подери вас всех, я хочу ее, она нужна нам, и мы непременно ее устроим.

## Глава 4

### Свадьба, волнения, принц крови (1787–1788)

Люсиль не сказала «да». Не сказала «нет». Она сказала, что подумает.

Аннетта. Сначала она ощутила панику, затем – гнев. Когда кризис миновал и после их последней встречи с Камилем прошел месяц, она начала потихоньку выпадать из светской жизни, проводя вечера в одиночестве, носясь с этой историей, как собака с костью.

Если тебя соблазнили, хвастать тут нечем. Еще хуже, если бросили. Но если тебя бросили ради юной дочери? Нельзя сильнее задеть женскую гордость.

С тех пор как король уволил министра Калонна, Клод вечерами пропадал на службе, составляя докладные записки.

В первую ночь Аннетта не сомкнула глаз. Перед рассветом она металась в постели, замышляя мечь. Ей хотелось заставить его уехать из Парижа. К четырем оставаться в постели стало невозможным. Она встала, закуталась в одеяло и принялась бродить по комнатам в темноте, босая, словно кающаяся грешница, меньше всего на свете желая разбудить служанку или дочь, которая, без сомнения, спала сном праведницы, как все эмоциональные деспоты. Рассвет застал ее дрожащей у открытого окна. То, что случилось с ней, казалось фантазией или ночным кошмаром, чудовищным, нелепым порождением сна, который приснился кому-то другому. Забудь этот крохотный неприятный эпизод в твоей жизни: все кончено. Но снова, как и прежде, Аннетту захлестывали обида и чувство потери.

Люсиль поглядывала на мать с опаской, не понимая, что происходит в ее голове. Они практически перестали разговаривать между собой. При посторонних обменивались вялыми замечаниями, наедине испытывали смущение.

Люсиль. Она избегала общества, перечитывала «Новую Элоизу». Год назад, когда эта книга впервые попала к ней в руки, Камиль сказал, что его друг – у него еще какая-то странная фамилия на «Р» – считает ее шедевром нашего времени. Этот друг, вероятно, был сентиментален сверх меры, и они с Люсиль отлично поладили бы. Она видела, что сам Камиль от книги не в восторге и не стремится повлиять на ее суждение. Она вспомнила, что он говорил ее матери об «Исповеди» Руссо – одной из тех книг, читать которые отец ей не позволял. Камиль заявил, что автор начисто лишен такта: есть то, что не стоит доверять бумаге. С тех пор Люсиль остерегалась писать в красном дневнике некоторые вещи. Она вспомнила, как однажды ее мать рассмеялась и заметила, что, если у тебя есть такт, ты можешь позволить себе любое безрассудство. Камиль добавил что-то об эстетике греха, Люсиль толком не расслышала, и мать снова рассмеялась, наклонилась к нему и коснулась его волос. Еще тогда ей следовало догадаться.

Вспоминая подобные эпизоды, Люсиль бесконечно вертела их в голове. Ее мать отрицала – если кого-нибудь интересовали ее оправдания, – что была любовницей Камилля. Скорее всего, она лжет, думала Люсиль.

Учитывая обстоятельства, Аннетта была к ней довольно снисходительна, а однажды заявила, что время все исправит, поэтому нет нужды что-либо предпринимать. Люсиль была не по душе подобная мягкотелость. Пусть это причинит кому-нибудь боль, но я своего добьюсь, думала она. Теперь со мной придется считаться, все мои поступки влекут последствия.

Она снова вспоминала ту сцену в гостиной. Буря улеглась, и луч заходящего солнца прорвался сквозь тучи и выхватил из сумрака ненапудренную прядь на шее Аннетты. Его руки уверенно сжимали ее тонкую талию. Когда Аннетта обернулась, ее лицо дрогнуло, как будто

ее ударили. На губах Камиля блуждала легкая улыбка, которую Люсиль находила странной. На мгновение он стиснул запястье Аннетты, словно надеялся продолжить, но уже в другой день.

И ужас, сжимающий сердце ужас, хотя чего она испугалась? Разве не это – более или менее – они с Адель ожидали увидеть?

Ее мать теперь редко выезжала и всегда в карете. Возможно, боялась случайно встретить Камиля. Сосредоточенное выражение лица старило ее.

Пришел май, долгие вечера и короткие ночи. Большую часть времени Клод проводил на службе, пытаясь придать новизну предложениям недавно назначенного генерального контролера финансов. С парламентом шутки плохи, а тут еще и налоги. Когда Парижский парламент проявлял упрямство, у короля было проверенное средство – отослать его в провинции. В этом году выбор пал на Труа, и каждого члена парламента направили туда специальным королевским указом. То-то в Труа обрадуются, заметил Жорж-Жак д'Антон.

Четырнадцатого июня он обвенчался с Габриэль в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа. Ей было двадцать четыре. Спокойно дожидаясь, когда отец с женихом обо всем договорятся, она проводила вечера на кухне, придумывая новые блюда и тут же съедая их. Габриэль пристрастилась к шоколаду и сливкам и рассеянно сыпала сахар в крепкий отцовский кофе. Она хихикала, когда мать затягивала на ней подвенечное платье, мечтая о том, как ее молодой муж будет его расстегивать. Габриэль выступила на сцену жизни. Выходя из церкви на солнечный свет, сжимая локоть мужа крепче, чем требуют приличия, она рассуждала: наконец-то все хорошо, моя жизнь лежит прямо передо мной, я знаю, какой она будет, и я не поменялась бы местами даже с самой королевой. От сентиментальных мыслей ее бросило в краску. У меня мозг от сладостей стал как студень, подумала Габриэль, щурясь на солнце, улыбаясь гостям, ощущая тепло тела под туго затянутым корсетом. Особенно ей не хотелось бы стать королевой. Габриэль видела на улицах ее кортеж, на лице королевы были написаны глупость и безудержное презрение, бриллианты сияли жесткими гранями, словно обнаженные клинки.

Квартира, которую они сняли, оказалась слишком близко к Ле-Аль.

– А мне здесь нравится, – заявила Габриэль. – Меня только свиньи смущают, они выглядят такими дикими и шныряют прямо под ногами. – Она улыбнулась мужу. – Но тебя свиньями не испугаешь.

– Они крошечные. Совершенно ничтожные. Впрочем, ты права, здесь есть свои недостатки.

– Тут чудесно, и мне все нравится, за исключением свиней. А еще грязи и того, как выражаются на рынке торговли. Но мы можем переехать, когда заработаем денег, а с твоей новой должностью переезд не затянется.

Разумеется, Габриэль не подозревала о его долгах. Он думал, что со временем, когда все уляжется, обо всем ей расскажет. Но ничего не улеглось, потому что она сразу забеременела – как бы не с первой брачной ночи – и теперь пребывала в состоянии рассеянности и эйфории, носясь между кафе и собственным домом, переполненная планами и надеждами. Узнав ее получше, он убедился, что Габриэль именно такая, какой он ее себе представлял: простодушная, строгих нравов, склонная к набожности. Омрачить ее счастье казалось отвратительной низостью. Удобное время, чтобы рассказать ей, пришло и ушло. Беременность Габриэль красила: волосы стали гуще, кожа сияла, она выглядела цветущей и соблазнительной, даже чувственной, и слегка задыхалась. Великий океан оптимизма подхватил их и понес в лето.

– Мэтр д'Антон, могу я отвлечь вас на минутку?

Они стояли рядом с Дворцом Сите. Д'Антон обернулся. Эро де Сешель, судья, примерно его возраста: человек по-настоящему знатный и богатый. Кажется, нас заметили, подумал Жорж-Жак.

– Хочу поздравить вас с вступлением в должность в суде Королевской скамьи. Отличная речь.

Д'Антон поклонился.

– Вы сегодня были в суде? – продолжал Эро.

Д'антон извлек папку:

– Дело маркиза де Шейла. Доказательство его прав на титул.

– Кажется, в голове вы все уже доказали, – пробормотал Камиль.

– О, я вас не сразу заметил, мэтр Демулен.

– Прекрасно заметили. Просто делаете вид, будто меня здесь нет.

– Ну, полно, полно, – рассмеялся Эро. Зубы у него были белоснежные.

Какого черта ты ко мне привязался, мысленно спросил д'Антон. Однако Эро держался спокойно и вежливо и, кажется, остановился просто поболтать.

– Как вы думаете, что нас ждет после высылки парламента?

Зачем ты спрашиваешь об этом меня? Подумав, д'Антон ответил:

– Королю нужны деньги. Парламент заявил, что только Генеральные штаты могут выделить субсидию, и, кажется, не намерен отступить от своих слов. Когда осенью король призовет членов парламента обратно, они скажут то же самое, и тогда, припертый к стенке, король созовет Генеральные штаты.

– Вы аплодируете победе парламента?

– Я никогда не аплодирую, – резко бросил д'Антон. – Я высказываю свое мнение. Лично мне кажется, что созыв Генеральных штатов – правильное решение, но боюсь, некоторые аристократы из тех, кто его поддерживает, думают лишь о том, как ограничить власть короля и расширить свою.

– Возможно, вы правы, – сказал Эро.

– Вы должны знать точно.

– Почему?

– Говорят, вы вхожи в число доверенных лиц королевы.

Эро снова рассмеялся:

– Не разыгрывайте передо мной сурового демократа, д'Антон. Подозреваю, наши суждения не столь уж различны. Да, ее величество одаряет меня привилегией иногда выигрывать за ее карточным столом. Но важнее другое: при дворе много людей, которых заботит благо страны. Возможно, их там даже больше, чем в парламенте.

Подготовленная речь, подумал д'Антон. Но какая профессиональная мягкость, какое очарование.

– Единственное благо, ради которого они готовы трудиться, это благо их семейств, – вмешался Камиль. – Им нравится получать приличные пенсии. Семьсот тысяч ливров в год для семьи Полиньяк? А вы разве не Полиньяк? Не понимаю, почему вы ограничиваетесь одним постом? Скупили бы всю судебную систему, и дело с концом.

Эро де Сешель коллекционировал предметы искусства. Он мог отправиться через всю Европу ради скульптуры, часов или первого издания. Он посмотрел на Камилля, словно преодолел большое расстояние, чтобы взглянуть на диковинку, а та оказалась низкопробной подделкой, и снова отвернулся к д'Антону:

– Я не устаю удивляться тем простакам, которые полагают, будто, противостоя королю, парламент отстаивает интересы народа. На деле именно король пытается учредить справедливую систему налогообложения...

– А мне все равно, – сказал Камиль. – Я просто хочу увидеть, как они перегрызутся между собой, потому что чем раньше это случится, тем скорее все пойдет прахом и тем скорее у нас будет республика. Если бы я занял чью-то сторону, то лишь ради того, чтобы все шло, как идет.

– Как оригинально вы мыслите, – проговорил Эро. – И как опасно. – На миг в нем проступило смущение, неуверенность, пресыщение. – Так дальше продолжаться не может, – сказал он. – И меня это радует.

– Вам скучно? – спросил д'Антон. Слишком откровенный вопрос, не успев родиться в голове, тут же слетел с губ – это было совсем на него непохоже.

– Наверно, в этом и причина, – печально ответил Эро. – Однако хочется быть более... более выпреним. Считать, что перемены нужны для блага Франции, а не потому, что скучаешь от безделья.

Удивительно – за несколько минут тон разговора совершенно переменялся. Эро забыл свои ораторские приемы и говорил так, словно доверяет собеседникам. Даже Камиль и тот, кажется, смотрел на него с сочувствием.

– Надо же, как тяжело быть богатым и знатным, – заметил он. – Мы с мэтром д'Антоном сейчас расплачемся.

– Никогда не сомневался в вашей чуткости. – Эро вновь стал самим собой. – Что ж, мне пора в Версаль, время ужина. Всего хорошего, мэтр д'Антон. Я слышал, вы женились, передавайте мои наилучшие пожелания вашей супруге.

Д'Антон стоял и смотрел ему вслед. На лице застыла задумчивость.

Они перебрались в кафе «Фуа» в Пале-Рояле. Место было не таким чинным, как заведение мсье Шарпантье, и туда ходила совсем другая публика. А главное, там вы не рисковали наткнуться на Клода.

Когда они вошли, какой-то человек, стоя на стуле, декламировал стихи. Он размахивал листами бумаги и драматически бил себя в грудь. Равнодушно взглянув на него, д'Антон отвернулся.

– Они к вам присматриваются, – шепнул ему Камиль. – Двор. А вдруг вы окажетесь им полезны. Они предложат вам небольшой пост, Жорж-Жак. Сделают из вас чиновника. Если вы возьмете их деньги, то превратитесь в Клода.

– У Клода все было хорошо, – сказал д'Антон, – пока в его жизни не появились вы.

– Разве этого достаточно?

– Достаточно ли? Не знаю. – Чтобы не смотреть на Камиля, он разглядывал чтеца. – Кажется, он закончил читать. Готов поклясться...

Вместо того чтобы слезть со стула, чтец внимательно их разглядывал.

– Черт меня подери!

Он спрыгнул на пол, пересек комнату, вытащил из кармана несколько карточек и протянул их д'Антону.

– Держите, это контрамарки. Как поживаете, Жорж-Жак? – Он довольно рассмеялся. – Неужели не помните? Но, черт подери, как же вы раздобрели!

– Поэт-лауреат?

– Он самый. Фабр д'Эглантин, ваш покорный слуга. – Он театральным жестом похлопал Жоржа по плечу. – Последовали моему совету, не так ли? Теперь вы адвокат. Либо вы очень хороши, либо живете не по средствам, либо шантажируете своего портного. А кроме того, у вас женатый вид.

Д'Антон улыбнулся:

– Это все?

Фабр ткнул его в живот:

– А еще вы толстеете.

– Где вы были раньше? Как вы здесь оказались?

– Везде помаленьку. Новая труппа, очень успешный прошлый сезон.

– Но не в Париже? Я бы непременно вас увидел, я часто бываю в театре.

– Нет, не в Париже. В Ниме. Честно говоря, сезон был умеренно успешный. Я забросил садово-парковую архитектуру. Теперь в основном пишу пьесы и гастролирую. А еще песенки.

Он замолчал и принялся насвистывать. Люди оборачивались и смотрели на них.

– Эту мелодию распевают на каждом углу, – сказал он. – А написал ее я. Простите, порой я бываю несносен. Я написал множество песенок, которые крутятся у вас в голове, но что толку. И вот я добрался до Парижа. Мне нравится бывать в этом кафе, читать свои наброски. Люди слушают, порой высказываются – разумеется, никто их об этом не просит, но я не возражаю. Билеты на «Августу», она идет в «Комеди Итальян». Это трагедия, во всех смыслах. Думаю, ее дадут на сцене последнюю неделю. Критики жаждут моей крови.

– Я видел «Литераторов», – сказал Камиль. – Это ведь ваша пьеса, Фабр?

Фабр обернулся, вытащил лорнет и всмотрелся в Камиля.

– Чем меньше вы о ней упоминаете, тем лучше. О, как вспомню это каменное молчание.

А затем свист.

– А чего вы ожидали, написав пьесу о критиках? А освистывали даже Вольтера. Премьеры его пьес обычно заканчивались беспорядками.

– Вы правы, – согласился Фабр. – Однако Вольтер нечасто задумывался, где раздобыть пропитание.

– Я знаком с вашими сочинениями, – настаивал Камиль. – Вы сатирик. Мой вам совет: хотите достичь успеха – подольститесь ко двору.

Фабр опустил лорнет, очевидно крайне польщенный. Хватило одной фразы: «Я знаком с вашими сочинениями». Он взъерошил волосы.

– Продаться? Это не по мне. Да, я люблю пожить и не прочь заработать. Однако всему есть пределы.

Д'Антон нашел свободный столик.

– Как же так? – сказал Фабр, усевшись. – Неужели прошло десять лет? Или больше? Говоришь: «Мы обязательно встретимся», но сам так не думаешь.

– Правильные люди притягиваются друг к другу, – сказал Камиль. – Их видно, словно на лбу у них нарисован крест. Вот я, например, на прошлой неделе видел Бриссо.

Д'Антон не стал спрашивать, кто такой Бриссо. У Камиля было множество сомнительных знакомцев.

– А теперь Эро. Я всегда его ненавидел, но теперь испытываю к нему другое чувство. Вопреки здравому смыслу, однако это так.

– Эро – судья, – объяснил д'Антон Фабру. – Он из богатейшей и знатнейшей семьи. Ему еще нет тридцати, красавец, много путешествовал, и все дамы при дворе добиваются его благосклонности...

– Какая мерзость, – пробормотал Фабр.

– Поэтому мы были несказанно удивлены, что он уделил нам целых десять минут. – Д'Антон усмехнулся. – Говорят, Эро воображает себя великим оратором и часами перед зеркалом разговаривает сам с собой в одиночестве. Хотя откуда нам знать, что он занимается этим в одиночестве?

– Слуги не в счет, – заметил Камиль. – Аристократы не считают слуг за людей, поэтому не стесняются предаваться перед ними своим слабостям.

– Зачем он репетирует? – спросил Фабр. – Надеется, что созовут Генеральные штаты?

– Вероятно, – ответил д'Антон. – Может быть, он видит себя вождем реформ. У него просвещенные взгляды. По крайней мере, если верить его словам.

– «Серебро их и золото не смогут избавить их в день гнева Господня», – объявил Камиль. – Книга пророка Иезекииля. И если читать на древнееврейском, очевидно, она о том, что Закон погубят жрецы, а синедрион – старейшины. «Царь восплачет, и князь облечется печалию» – и это непременно случится, если они и дальше будут вести себя, как сейчас.

Кто-то сказал:

– Говорите тише, не то ваша проповедь привлечет полицию.

Фабр ударил рукой по столу и вскочил. Его лицо побагровело.

– Цитировать Писание не преступление! – воскликнул он. – Хотя я не понял, что вы имели в виду.

За соседними столиками захихикали.

– Не знаю, кто вы, – вскричал Фабр страстно, обращаясь к Камиллю, – но я с вами!

– О боже, – пробормотал д'Антон. – Только не поощряйте его.

Д'Антону при его габаритах трудно было бы выскользнуть из кафе незамеченным, поэтому он попытался сделать вид, будто пришел не с ними. Тебя незачем поощрять, думал он, ты создаешь неприятности, потому что не способен ни к чему другому, тебе нравится думать о разрушении снаружи, потому что разрушение у тебя внутри. Он отвернулся к двери, за которой лежал город. Миллионы людей, чьих мыслей я не знаю. Вспыльчивые и безрассудные, беспринципные, расчетливые, добродетельные. Те, кто читает на древнееврейском, и те, кто не знает счета. Младенцы, что ворочаются, словно рыбы, в тепле материнской утробы, и отрицающие время древние старухи, чьи румяна затвердели и сходят после полуночи, обнажая морщинистую кожу, а под кожей проглядывают пожелтелые кости. Монашки в рясах. Аннетта Дюплесси, терпящая Клода. Узники в Бастилии, вопиющие о свободе. Люди изуродованные и люди, слегка подпорченные, брошенные дети, что сосут жидкое молоко долга, моля о приюте. Придворные; Эро, сдающий Антуанетте плохую карту. Проститутки. Парикмахеры и писари, освобожденные рабы, дрожащие на площадях, и те, кто собирает таможенные пошлины в парижских воротах. Мужчины, что всю жизнь рыли могилы. Те, чьи мысли текут иначе. О ком ничего не известно и не может быть известно. Он оглянулся на Фабра.

– Мой лучший труд еще не написан, – сказал тот, обрисовав в воздухе размеры будущего труда.

Каков мошенник, подумал д'Антон. Фабр был на взводе, словно механическая игрушка, и Камиль смотрел на него, как ребенок, которому достался неожиданный подарок. Старый мир душит, и даже мысль о том, чтобы сбросить с себя его вес, утомительна. Утомляет всё: как тасуются убеждения, шелестят по столам бумаги, крошится логика, колеблются взгляды. Мир должен быть проще и жестче.

Люсиль. Бездействие имеет свои утонченные преимущества, но сейчас она думает, что пора подтолкнуть события. Детство осталось позади, она больше не фарфоровая куколка с соломенным сердцем. Мэтр Демулен вместе с матерью Люсиль потрясли основы ее бытия, как будто проломил кукле фарфоровый череп. С того дня тела обрели вес – пусть их тела, не ее. Они были тверды и материальны. Она с болью ощущала их превосходство, но если она чувствовала боль, значит обретала плоть.

Середина лета. Бриенн, генеральный контролер финансов, занял у мэрии Парижа двенадцать миллионов ливров. «Капля в море», – заметил мсье Шарпантье. Он выставил кафе на продажу, они с Анжеликой задумали перебраться за город. Аннетта, отдавая долг отличной погоде, выбиралась в Люксембургский сад. Когда-то она часто гуляла здесь с девочками и Камилем, но этой весной цветение имело кисловатый, несвежий запах.

Люсиль проводила много времени с дневником: развивала сюжет. В самую обычную пятницу, когда ничто не предвещало перемен, мою судьбу принесли из кухни, надписанную моим именем, и вложили в мою невинную руку. Той ночью – с пятницы на субботу – я вынула письмо из тайника и вновь приложила к холодному кружеву ночной рубашки, примерно над моим трепещущим сердцем, пламя свечей дрожало, о, мои бедные чувства. Я знала, что к сентябрю моя жизнь изменится безвозвратно.

– Решено, – сказала она, – я все-таки выйду замуж за мэтра Демулена.

Она бесстрастно наблюдала, как дурнеет мать, когда тонкая кожа на ее лице покрывается пятнами гнева и страха.

Ей придется учиться отстаивать себя в грядущих испытаниях. После первого столкновения с отцом она в слезах убежала в свою комнату. Недели летят, и ее чувства разгораются, и, вторя им, пожар вспыхивает на улицах.

Демонстрация началась у Дворца Сите. Адвокаты сгребли бумаги со столов и обсуждали, остаться внутри или пробиваться сквозь толпу. Уже появились жертвы: один или два убитых. Адвокаты считали, лучше пересидеть, пока демонстранты не разойдутся. Разругавшись с коллегами, д'Антон направился напрямик через поле битвы.

Раненых было очень много. Люди пострадали в давке, но были и те, кто схватился с гвардейцами в рукопашной. Хорошо одетый мужчина расхаживал по улице, демонстрируя всем желающим пулевую дыру в сюртуке. На мостовой сидела женщина, выкрикивая тонким и резким голосом:

– Кто открыл огонь, кто приказал стрелять?

Несколько человек получили ножевые ранения.

Он нашел друга у стены на коленях. Камиль записывал. Человек, которого он слушал, лежал, упершись плечами в стену. Одежда на нем была изорвана, лицо почернело. Д'Антон не мог разглядеть, куда его ранили, но лицо под копотью застыло, а в глазах плескалась не то боль, не то изумление.

– Камиль, – позвал д'Антон.

Камиль посмотрел на его туфли, затем поднял мертвенно-бледное лицо и отложил бумагу, больше не пытаясь разобрать бормотание раненого. Затем показал на человека, который стоял в нескольких ярдах, скрестив руки, широко расставив короткие ноги и уставившись в землю.

– Видишь? Это Марат, – бесстрастно заметил Камиль.

Д'Антон не стал смотреть. Кто-то, показав на Камиля, промолвил:

– Гвардейцы швырнули его на землю и пинали в ребра.

Камиль выдавил улыбку:

– Вероятно, я просто попал им под ноги.

Д'Антон попытался его поднять.

– Я не могу, оставьте меня, – сказал Камиль.

Д'Антон отвел его домой к Габриэль. Чуть живой Камиль уснул в их постели.

– Я знаю одно, – сказала Габриэль. – Если бы пинали тебя, солдатские сапоги отскакивали бы от твоих ребер.

– Я же говорил, – ответил д'Антон, – что был внутри, в суде, это Камиль полез в гущу событий. Я не играю в глупые игры.

– И все равно я тревожусь.

– Это была мелкая стычка. Солдаты запаниковали. Никто не знает, из-за чего все началось.

Успокоить Габриэль было непросто. Она составила планы: новый дом, дети, его будущий успех, и теперь ее пугали любые потрясения, гражданские или душевные. Она боялась, что они незаметно проторят дорожку с улиц к дверям ее сердца.

Когда у них ужинали друзья, муж запросто упоминал людей из правительства, словно знал их лично. Когда говорили о будущем, мог заметить: «если так пойдет и дальше».

– Я рассказывал, что в последнее время много работал для мсье Барантена, председателя Палаты акцизных сборов. Естественно, мне приходилось часто бывать в правительственных

кабинетах. А когда видишь людей, которые управляют страной, – он покачал головой, – начинаешь задумываться об их компетентности. Невольно начинаешь их оценивать.

– Но они же все разные. – (Прости меня, хотелось сказать Габриэль, что вмешиваюсь в то, чего не понимаю.) – При чем тут система? Как одно связано с другим?

– На самом деле вопрос только один, – сказал он. – Может ли так продолжаться дальше? И ответ: нет, не может. Мне кажется, не пройдет и года, как наша жизнь сильно изменится.

Он решительно закрыл рот, поймав себя на том, что рассуждает о материях, которыми женщины не интересуются. Кроме того, ему не хотелось расстраивать Габриэль.

Филипп, герцог Орлеанский, лысеет. Его друзья – или те, кто хочет ими стать, – убеждают его сбрить волосы со лба, чтобы герцогская алопеция выглядела капризом или причудой. Однако никакой лести не под силу скрыть сам факт.

Герцогу Филиппу сорок один год. Говорят, он один из богатейших людей Европы. Он принадлежит к младшей ветви королевской семьи, а принцы из этой линии редко бывают близки со своими кузенами, принадлежащими к старшей ветви. Взгляды герцога Филиппа радикально расходятся со взглядами короля Людовика.

До настоящего времени жизнь не баловала герцога. Его воспитывали и одевали так плохо, что впору заподозрить злой умысел, как будто они хотели испортить его вкус, принизить его и лишить возможностей участвовать в политической жизни. Когда он женился и появился с новой герцогиней в Опере, галерка была забита публичными женщинами, вырядившимися в траур.

Филипп неглуп, впечатлителен, обидчив и готов безудержно потакать своим прихотям. Ему есть на что обижаться. Король все время вмешивается в его частную жизнь. Его письма вскрывают, полицейские и шпионы короля повсюду следуют за ним. Они хотят разрушить его дружбу с принцем Уэльским и не допустить его поездок в Англию, откуда он привозит превосходных женщин и лучших скаковых лошадей. Его без устали чернит и порочит партия королевы, которая желает превратить герцога в предмет насмешек. Разумеется, его преступление в том, что он стоит слишком близко к трону. Герцогу порой трудно сосредоточиться, и не стоит воображать, будто он способен прочесть судьбу нации в бухгалтерских балансах, однако нет нужды убеждать Филиппа Орлеанского, что Франция несвободна.

Среди его многочисленных женщин есть одна особенная, и это отнюдь не герцогиня. Фелисите де Жанлис стала его любовницей в тысяча семьсот семьдесят втором, и в доказательство нежных чувств к ней герцог сделал на руке татуировку. Фелисите – женщина редкого очарования и стальной воли, а еще она пишет романы. На поле знаний о человеческой природе осталось совсем немного акров, которые она не успела бы вспахать со своей пугающей педантичностью. Очарованный и плененный герцог доверил ей образование собственных детей. У нее есть дочь, Памела, красивая и талантливая девочка, которую они выдают за сироту.

От герцога и его детей Фелисите требует уважения, покорности и восхищения. От герцогини – робкого признания своего статуса и власти. Разумеется, у Фелисите есть муж – Шарль-Алексис Брюлар де Силлери, граф де Жанлис, представительный морской офицер в отставке с безупречным послужным списком. Граф близок к Филиппу – состоит в его маленькой армии подхалимов и угодников. Когда-то их с Фелисите брак называли браком по любви. Спустя двадцать пять лет Шарль-Алексис не утратил ни красоты, ни лоска и денно и нощно предается своей главной страсти – картежной игре.

Фелисите удалось повлиять даже на герцога – усмирить самые буйные страсти, направить его деньги и энергию к более достойным целям. Сейчас это прекрасно сохранившаяся женщина за сорок, высокая, стройная, с темно-русыми волосами, завораживающим взглядом карих глаз и решительным выражением лица. Физически они с герцогом давно не близки, но

она сама выбирает ему любовниц и дает им наставления. Она привыкла быть в центре событий, привыкла поучать и раздавать советы. Она не испытывает любви к жене короля Антуанетте.

Всепоглощающее легкомыслие двора оставляет ощущение пустоты, нация нуждается в культурном центре. Фелисите решает, что Филипп и его двор восполнят эту потребность. Не то чтобы она поддерживала его политические амбиции, но интеллектуалы, творцы и ученые – признанные властители дум – обычно люди либерального склада, люди просвещенные, устремленные в будущее. Разве герцог не пользуется всеобщим расположением? В 1787 году вокруг Филиппа собирается общество молодых людей, в основном аристократов. Все они честолюбивы, все испытывают смутное чувство, что их честолюбивым замыслам не хватает простора, что жизнь их не удовлетворяет. И герцогу, который ощущает это острее других, предстоит их возглавить.

Герцог желает сродниться со своим народом, особенно с парижанами, хочет отвечать их надеждам и чаяниям. Его резиденция расположена в центре города, в Пале-Рояле. Он открывает сады для публики, сдает строения под магазины, бордели, кофейни и казино. Так и выходит, что в средоточии блуда и молвы, уличного воровства и драк сидит Филипп, добрый герцог Филипп, отец своего народа. Впрочем, никто не спешит заявить об этом, ничего еще не решено.

Летом 1787 года Филипп снаряжен и спущен на воду для пробных маневров. В ноябре король решает встретиться со строптивым парламентом на королевском заседании, дабы утвердить эдикты об увеличении государственных займов. Если ему не удастся добиться своего, придется созывать Генеральные штаты. Филипп готов бросить вызов власти короля, дать по ней бортовой залп, как выразится де Силлери.

Камиль повидался с Люсиль у церкви Сен-Сюльпис, на благословении.

– Карета недалеко, – сказала Люсиль. – Наш слуга Теодор обычно на моей стороне, но он должен будет подогнать ее через минуту. Поэтому поспешим.

– Вашей матери, случайно, нет в карете? – с тревогой спросил он.

– Нет, она киснет дома. Кстати, я знаю, что вы участвовали в мятеже.

– Где?

– Ходят слухи. Клод знаком с неким Шарпантье. Представьте себе, Клод в крайнем возбуждении.

– Вам не следует здесь стоять, – сказал он. – Погода ужасная. Вы промокнете.

Люсиль ничуть не сомневалась, что он не отказался бы затащить ее в карету и воспользоваться ее невинностью.

– Иногда я мечтаю, – сказала Люсиль, – жить в теплых краях, где каждый день солнце. Скажем, в Италии. А потом думаю, нет, останусь дома, немного померзну. Деньги, которые отец отложил для моего приданого, я не позволю им утечь сквозь пальцы. Сбежать и отказаться от них было бы вопиющей неблагодарностью. Мы должны пожениться здесь, – она взмахнула рукой, – когда сами решим. Потом можем поехать в Италию отдохнуть. После того как мы схлестнемся с ними и одержим победу, нам потребуется отдых. Оставим нескольких слонов и перейдем через Альпы.

– Так вы хотите за меня выйти?

– Конечно.

Она изумленно смотрела на него. Неужели она забыла поставить его в известность? Несколько недель она только об этом и думает! Неужели до него не доходили слухи? То, что он даже не... Неужели он *оставил эту мысль*?..

– Камиль... – проговорила она.

– Отлично, – сказал он. – Только если мне придется выписывать слонов, я не могу полагаться на одно лишь обещание. Вы должны поклясться мне страшной клятвой. Говорите: «Клянусь мощами аббата Терре».

Она захихикала:

– У нас не принято поминать аббата Терре всуе.

– Я же говорю, страшной клятвой!

– Как хотите. Клянусь мощами аббата Терре, что выйду за вас во что бы то ни стало, что бы кто ни сказал, даже если небеса обрушатся на землю. По-моему, нам следует поцеловаться, – она протянула ему руку, – но это большее, на что я способна. Иначе Теодора замучает совесть и он подгонит карету немедленно.

– Не могли бы вы снять перчатку? – спросил он. – Для начала.

Сняв перчатку, Люсиль протянула ему руку. Она думала, он поцелует кончики ее пальцев, но он довольно грубо перевернул ее ладонь и на мгновение прижал к губам. Всего лишь прижал, не поцеловал, просто прижал к своему рту. Люсиль задрожала.

– А вы знаете в этом толк, – заметила она.

Подъехала карета. Лошади вздыхали, перебирали копытами. Теодор сидел спиной, с интересом всматриваясь в даль.

– А теперь слушайте, – сказала она. – Мы ходим в эту церковь, потому что моя мать неравнодушна к одному из священников. Она ценит его возвышенный образ мыслей и духовную красоту.

Теодор обернулся и открыл для Люсиль дверцу кареты. Она отвернулась от Камилля.

– Его зовут аббат Лодревиль. Он посещает нас, когда моей матери приходит охота побеседовать о своей душе, что в последнее время случается трижды в неделю. А еще он считает, что мой отец совершенно лишен душевной чуткости. Поэтому пишите. – Дверца захлопнулась, и она продолжила через окно: – Думаю, вы сумеете найти подход к старенькому аббату. Пишите, а он будет передавать мне ваши письма. Приходите к вечерней мессе за ответами.

Теодор взялся за вожжи. Она отпрянула от окна.

– Порой благочестие приносит пользу.

Ноябрь. Кафе «Фуа», Камиль, заикаясь и захлебываясь словами:

– Мой кузен де Вьефвиль не погнушался подойти ко мне на публике, ему не терпелось рассказать кому-нибудь, что случилось. Итак: король появился и, как обычно, сидел в полусне. Говорил хранитель печатей, и он заявил, что Генеральные штаты будут созваны, но не раньше девяносто второго года, что для нас целая вечность...

– Я виню во всем королеву.

– Ш-ш-ш.

– Начались протесты, развернулась дискуссия об эдиктах, которые король требовал утвердить. А как дошло до голосования, хранитель печатей подошел к королю и что-то ему сказал, после чего король просто прервал обсуждение, заявив, что эдикты должны быть утверждены. Он приказал им утвердить эдикты.

– Но как он мог...

– Ш-ш-ш.

Камиль оглядел слушателей. Только что случилось нечто удивительное – его заикание пропало.

– Затем встал герцог Орлеанский, и все уставились на него. Де Вьефвиль уверяет, что он был совершенно белый. Герцог заявил: «Вы не можете так поступить. Это незаконно». Тогда король пришел в возбуждение и воскликнул: «Это законно, потому что я так сказал!»

Камиль умолк. Вокруг поднялся шум: протесты, споры, поддельные крики ужаса. Внезапно он почувствовал, что его со страшной силой тянет опровергнуть собственную линию

защиты. Может быть, ему наскучило быть адвокатом, или (спросил он себя) я просто слишком честен?

– Послушайте, каждый из вас, пожалуйста, я только передаю то, что услышал от де Вьефвиля! Я не жду, что вы поверите, будто король и впрямь такое сказал, – слишком неуместными кажутся его слова. Если они затеяли конституционный кризис, именно таких слов они от него ждали, не правда ли? Может быть, он неплохой человек, король... Вероятно, он такого никогда не говорил, вероятно, ограничился шуткой.

Д'Антон сразу заметил: Камиль больше не заикался, обращаясь к каждому человеку в толпе, словно тот был его единственным собеседником.

– Что ж, тогда не будем терять время! – сказал кто-то.

– Эдикты зарегистрировали. Король отбыл. Как только он оказался за дверью, их отменили и вычеркнули из конторских книг. Двое членов парламента арестованы по приказу короля без суда. Герцога Орлеанского выслали в его имение в Виллер-Котре. А я приглашен на ужин к моему почтенному кузену де Вьефвилю.

Прошла осень, и Аннетта сказала: если рухнула крыша, может быть, стоит покопаться среди обломков в поисках того, что осталось? Нельзя же вечно сидеть среди развалин и сокрушаться: за что? Аннетта была бессильна перед тем, что Камиль собирался проделать с ней и с ее дочерью, и она смирилась, как смиряются с долгой неизлечимой болезнью. Порой ей хотелось умереть.

## Глава 5

### Новая профессия (1788)

Никаких изменений. Ничего нового. Все та же гнетущая атмосфера кризиса. Ощущение, что хуже уже не будет, даже если что-то сдвинется с места. Однако ничего не желает поддаваться. Крах, провал, идущий ко дну корабль государства: точка невозврата, смещающееся равновесие, трещащие по швам доктрины, пески времен. Пропцвтают только клише.

В Аррасе Максимилиан де Робеспьер встречает новый год в злобе и унынии. Он в состоянии войны с местной судебной властью. Денег нет. Он вышел из состава литературного общества, сейчас поэзия кажется ему неуместной. Он пытается сузить круг общения – ему сложно проявлять простую вежливость к самодовольным, амбициозным и сладкоречивым, а это и есть точное описание местного хорошего общества. Все чаще в разговорах возникают животрепещущие темы, и ему приходится подавлять улыбку и умолкать, о это вечное соглашательство, он изо всех сил пытается задавить в себе эту черту. Любое разногласие ведет к обиде, любая уступка в суде чревата поражением. Существует закон, запрещающий дуэли, но нельзя запретить дуэли в голове. Ты не можешь, говорит он брату Огюстену, отделять людей от их политических взглядов, политика требует серьезности.

Вероятно, эти мысли должны каким-то образом отражаться на лице, однако его по-прежнему зовут на ужины, театральные вечера и загородные прогулки. Никто не замечает, что у него больше нет сил оставаться послушным винтиком общественного механизма. Под давлением чужих ожиданий он снова и снова проявляет такт и мягкость. К тому же это так просто – вести себя как приличный мальчик, каким ты был всегда.

Рядом тетушки Генриетта и Элали с их удушающей деликатностью, ведь они хотят ему только хорошего. Взять Анаис, падчерицу тети Элали: такая хорошенькая, души в тебе не чают – ну почему ты отказываешься? Почему бы не покончить с этим раз и навсегда? А потому, выпаливает он, что в следующем году могут созвать Генеральные штаты, и кто знает, кто знает, возможно, меня здесь уже не будет.

К Рождеству Шарпантье переселяются в новый дом в Фонтене-су-Буа. Они скучают по любимому кафе, но не по грязи большого города, вечному шуму и грубиянам в лавках. Утверждают, что от деревенского воздуха помолодели на десять лет. По воскресеньям их навещают Габриэль и Жорж-Жак. Счастье молодых радует глаз. Младенцу навяжут шалей, которых хватило бы для семерых новорожденных, а заботиться о нем будут, как о дофине. После долгой зимы Жорж-Жак выглядит осунувшимся. Ему бы съездить на месяц в Арси, но он не может позволить себе отпуск. Теперь у него постоянная должность в Палате акцизных сборов, однако он уверяет, что не отказался бы от дополнительного заработка. Жорж-Жак не прочь прикупить немного земли – но утверждает, что у него нет накоплений. Есть предел человеческим возможностям, говорит Жорж-Жак, однако беспокоится он зря. Мы все им гордимся.

В казначействе Клод Дюплесси из последних сил бодрится, несмотря на обстоятельства. За пять месяцев прошлого года во Франции сменилось пять генеральных контролеров финансов, и каждый задавал одни и те же глупые вопросы, требуя одних и тех же бесполезных сведений. Ему приходится напрячься, чтобы, проснувшись поутру, вспомнить, на кого он работает сегодня. Несомненно, вскоре вернут мсье Неккера, который снова в угоду публике предложит панацею от всех бед. Если публика считает Неккера своего рода мессией, то кто тогда мы, про-

стые чиновники... Никто в казначействе больше не обольщается, что все еще можно исправить.

Клод рассказывает коллегам, что его красавица-дочка хочет выйти замуж за провинциального адвоката, заику, которого днем с огнем не сыщешь в суде и чей моральный облик вызывает сомнения. Он удивляется, почему коллеги ухмыляются.

Дефицит составляет сто шестьдесят миллионов ливров.

Камиль Демулен жил на улице Сент-Анн с любовницей. Ее мать писала портреты.

– Навести свою семью, – однажды сказала ему любовница. – Съезди к ним на Новый год.

Она смотрела на него, раздумывая, не пойти ли по стопам матери. Камиля непросто запечатлеть на холсте. Гораздо проще рисовать типажи в духе времени: розовощеких, тучных, самоуверенных мужчин только что от куафера. Камиль движется слишком быстро даже для молниеносного наброска. Она понимает, что скоро он исчезнет из их жизни, и хочет по возможности уладить его дела.

И теперь *дилижанс*, недостойный своего имени<sup>7</sup>, громыхал в Гиз по размытым январскими дождями колеям. Приближаясь к дому, Камиль думал о сестре Генриетте, о ее долгом умирании. Раньше он днями и неделями не видел сестру, только осунувшееся землистое лицо матери и снующего туда-сюда доктора. Когда он уехал учиться в Като-Камбрези, то порой, проснувшись среди ночи, спрашивал себя, почему не слышит ее кашля? А когда вернулся, ему позволили зайти к ней и посидеть пять минут у кровати больной. Прозрачная кожа под глазами отливала синевой, выпирали костлявые ключицы. Она умерла в год его отъезда в Париж, в тот день лил проливной дождь, превращая улицы в бурные потоки.

Отец предложил священнику и доктору коньяка – как будто они впервые видели смерть и нуждались в укреплении духа. Сам забился в угол, а разговор, к его неудовольствию и смущению, вертелся вокруг сына: Камиль, ты рад, что будешь учиться в лицее Людовика Великого? Я приучил себя думать, что мне там понравится, отвечал тот. А по родителям скучать не будешь? Вы забываете, что меня отправили в школу три года назад, когда мне исполнилось семь, уж я не буду скучать по ним, а они по мне. Мальчик расстроен, поспешил заметить священник, но, Камиль, не забывай, твоя сестра в раю. Нет, святой отец, нас приучили думать, что Генриетту мучают в чистилище, вот утешение, которое предлагает нам наша религия.

Теперь, когда он приедет, отец предложит коньяк ему и спросит, как спрашивает всякий раз, – как дорога? К дороге ему не привыкать. Лошади могут пасть, тебя отравят в пути или заговорят до смерти назойливые попутчики. Возможностей хоть отбавляй. Однажды он ответил: я ничего не видел, ни с кем не говорил, потому что всю дорогу меня одолевали злобные мысли. Неужели всю дорогу? И то было во времена до *дилижанса*. В шестнадцать он умел выносить тяготы.

Прежде чем покинуть Париж, Камиль прочел последние отцовские письма: резкие, властные, ранящие. Между строк маячил неоспоримый факт: Годары хотят расторгнуть его помолвку с кузиной Роз-Флер. Они задумали поженить детей, когда она была в колыбели: кто же мог знать, что все так сложится?

Он приехал в ночь на пятницу. На следующий день ему предстояло нанести обязательные визиты. Роз-Флер делала вид, будто робеет с ним говорить, но притворство тяжелым грузом лежало на ее плечах. У нее был пронзительный взгляд и тяжелые черные волосы Годаров. Порой она стреляла в него глазами, пока ему не начало казаться, что он весь покрылся черной паточкой ее взглядов.

---

<sup>7</sup> Слово «дилижанс» происходит от французского «карос де дилижанс», «скорый экипаж».

В воскресенье Камиль отправился с семьей на мессу. На узких, занесенных снегом улочках он стал объектом всеобщего любопытства. В церкви люди глазели на него, словно он прибыл из мест, где жарче, чем в Париже.

– Говорят, ты атеист, – прошептала ему мать.

– Это все, что обо мне говорят?

А Клеман спросил:

– А вдруг ты, как та дьявольская анжуйка, исчезнешь в клубах дыма при освящении Святых Даров?

– То-то будет шуму, – заметила Анна-Клотильда. – Нашей светской жизни не хватает разнообразия.

Камиль старался не смотреть на паству, уверенный, что его разглядывают во все глаза. Все тот же мсье Сольс с женой, тот же пузатый доктор в парике, который когда-то положил в гроб Генриетту.

– А вот твоя старая подружка, – сказал Клеман. – Все думали, мы не знаем, а мы знали.

Софи превратилась в матрону с двойным подбородком. Она смотрела сквозь него, словно его кости из стекла. Возможно, это было недалеко от истины, даже камень крошился и плавился в благовонном церковном сумраке. Шесть точек света на алтаре то затухали, то разгорались, их тени перекрещивали плоть и камень, хлеб и вино. Несколько причастников исчезли в темноте. Был праздник Богоявления. Когда они снова вышли из тьмы, сизый дневной свет омыл черепа горожан, заморозил их лица и содрал кожу до кости.

Камиль поднялся в отцовский кабинет и принялся рыться в его бумагах, пока не нашел то, что искал, – официальное письмо своего дяди Годара. Отец вошел, когда он его читал.

– Что ты делаешь?

Он не потрудился спрятать письмо.

– Все зашло слишком далеко, – сказал Жан-Николя.

– Да, – улыбнулся Камиль, переворачивая листок. – Зато теперь ты знаешь, что я безжалостен и способен на ужасные поступки. – Он поднес письмо к свету и прочел: – «Известная неуравновешенность Камилля и опасности, которые могут грозить крепости и продолжительности этого союза». – Он отложил письмо, рука дрожала. – Они думают, я сумасшедший? – спросил он отца.

– Они думают...

– А что еще это может означать: неуравновешенность?

– Тебе не нравится выбор слов? – Жан-Николя подошел к камину, потирая руки. – В церкви было чертовски холодно, – заметил он. – Они могли бы найти другие слова, однако вряд ли осмелились бы доверить их бумаге. Ходят слухи о твоих... отношениях... с коллегой, которого я всегда почитал...

Камиль уставился на отца:

– Это было давно.

– Мне не хотелось заводить этот разговор, – сказал Жан-Николя. – Ты хочешь опровергнуть слухи? Я готов публично тебя защитить.

Ветер швырнул в окно горсть снежной крупы, задребезжали дымоходы и карнизы. Жан-Николя со страхом поднял глаза.

– В ноябре у нас сорвало шифер. Что происходит с погодой? Никогда такого не было.

Камиль сказал:

– Все, что было, было тогда... в те дни солнце светило ярче. Шесть лет прошло. Если не больше. В любом случае моей вины тут нет.

– Что ты хочешь сказать? Что мой друг Перрен, семьянин, которого я знаю тридцать пять лет, человек, уважаемый в Канцлерском суде и видный франкмасон, в один прекрасный день

сшиб тебя с ног и затащил в постель, бесчувственного и беззащитного? Чушь. Прислушайся, – воскликнул он, – что за странный стук? Это водосточный желоб?

– Спроси любого, – сказал Камиль.

– О чем?

– О Перрене. У него есть определенная репутация. Я был ребенком, я... ты же знаешь, каким я был, сам не понимаю, как так вышло.

– Это не оправдание. Никто не заставлял тебя, а теперь Годары... – Жан-Николя замолчал и поднял глаза. – Думаю, это водосточный желоб. – Он обернулся к сыну. – Я заговорил об этом, чтобы напомнить тебе: такие истории всегда влекут за собой последствия.

С набрякшего тусклого неба сыпался снег. Ветер внезапно стих. Камиль прижался лбом к холодному стеклу и смотрел, как снег заносит площадь. От потрясения его мутило. Стекло запотело от его дыхания, в камине трещал огонь, чайки с криками носились в вышине. Вошел Клеман.

– Слышали звук? Словно кто-то стучит? Это водосточный желоб? Странно, звук пропал. – Он обвел комнату глазами. – Камиль, ты здоров?

– Здоров. Ты передашь упитанному тельцу, что его снова помиловали?

Два дня спустя Камиль был на улице Сент-Анн.

– Я съезжаю, – сказал он любовнице.

– Твое дело, – ответила она. – Если хочешь знать, мне не по душе твои шашни с матушкой за моей спиной. Так что все к лучшему.

Теперь Камиль просыпался в ненавистном одиночестве. Он коснулся закрытых век. Его сны не выдерживали обсуждения. Люди не понимают, какую жизнь он ведет. Долгая борьба за обладание Аннеттой истощила его нервы. Как бы ему хотелось добиться ее и наконец успокоиться. Он не желал Клоду зла, но было бы весьма уместно, если бы тот исчез, испарился. Он не хотел, чтобы Клод страдал. Камиль попытался вспомнить прецеденты, возможно, в Писании. Жизнь научила его, что на свете нет ничего невозможного.

Он вспомнил – ему приходится напоминать себе об этом каждое утро, – что он собирается жениться на дочери Аннетты, что он заставил ее принести клятвы. Как все это сложно. Его отец считал, что он разрушает чужие жизни. Это не так. Он никого не насиловал и не убивал, а от остального люди должны сами оправиться и жить дальше, как он.

Из дома пришло письмо. Камилю не хотелось его распечатывать. Затем он подумал, не будь болваном, а вдруг кто-то умер. Внутри был банковский чек и несколько слов от отца, скорее принятие неизбежного, чем извинение. Между ними все было давно решено, они прошли полный цикл: от оскорблений через ужас к бегству и уступкам. Когда-нибудь отец поймет, что переступил границу. Он хотел держать сына под контролем, но, если сын перестанет писать и изредка бывать дома, он утратит эту возможность. Я должен отослать чек обратно, подумал Камиль. Впрочем, он, как всегда, нуждался в деньгах. Отец, подумал он, у тебя есть и другие дети, чтобы их мучить.

Пойду проведаю д'Антоня, решил Камиль. Жорж-Жак поговорит со мной, он не станет пенять мне на мои грехи, на самом деле они ему даже нравятся. День просветлел.

В конторе д'Антоня былолюдно. Королевский советник держал двух секретарей. Одним из них был Жюль Паре, которого д'Антоня знал со школы, хотя и был младше его на несколько лет. Теперь никому не казалось странным, что он нанял человека старше себя. Другого звали Дефорж, и его д'Антоня тоже знал всю жизнь. Был еще некий прихлебатель по имени Бийо-Варенн, который являлся, когда в нем была нужда, набросать черновик иска или проделать другую рутинную работу, разгрузив остальных секретарей. Сегодня утром в конторе дежурил Бийо, худощавый непривлекательный человек, который за всю жизнь не сказал ни о ком доброго слова. Когда Камиль вошел, он перекладывал бумаги на столе Паре, сетуя вслух, что его

жена толстеет. Камиль с порога заметил, что сегодня утром Бийо особенно раздражителен. Стоило ли удивляться: он выглядел убого и жалко рядом с Жорж-Жаком в отдраенном щеткой превосходном черном сюртуке тонкого сукна и галстукe ослепительной белизны, с его всегдашним самоуверенным видом и роскошным громовым голосом.

– Почему вы жалуетесь на Анну, – спросил Камиль, – хотя на самом деле хотите пожаловаться на мэтра д'Антонна?

Бийо поднял глаза:

– Я не жалуюсь.

– Счастливчик. Должно быть, вы единственный человек во Франции, которого все устраивает. Почему он лжет?

– Хватит, Камиль. – Д'Антон принял бумаги от Бийо. – Я работаю.

– Когда вы вступали в адвокатскую коллегия, разве вам не пришлось получить у приходского священника сертификат, что вы добрый католик? – спросил Камиль.

Д'Антон хмыкнул, не отрываясь от иска.

– Разве этот сертификат для вас не кость в горле? – продолжал Камиль.

– Париж стоит мессы, – заметил д'Антон.

– Вот поэтому мэтр Бийо-Варенн довольствуется своим нынешним скромным положением. Он мог бы стать королевским советником, но не может заставить себя поступиться принципами. Он ненавидит попов, не правда ли?

– Правда, – сказал Бийо. – И раз уж мы занялись цитированием, процитирую специально для вас: «Я хотел бы, и это последнее и самое горячее из моих желаний, чтобы последнего короля задушили кишками последнего священника».

Возникла короткая пауза. Камиль разглядывал Бийо. Он терпеть его не мог, с трудом выносил его присутствие в комнате. При виде Бийо по коже бежали мурашки, а в душе поднимались необъяснимые мрачные предчувствия. Однако ему приходилось бывать с ним в одной комнате. Приходилось искать общества людей, которых он не выносил, приходилось себя заставлять. Порой Камиль смотрел на некоторых, и ему казалось, что он знает их с рождения, словно они его родственники.

– Как поживает ваш антиправительственный памфлет? – спросил он Бийо. – Еще не нашли издателя?

Д'Антон поднял глаза от бумаг:

– Зачем вы тратите время на написание того, что никогда не будет опубликовано, Бийо? Я не дразнюсь – просто хочу знать.

Лицо Бийо пошло пятнами.

– Потому что я не иду на компромиссы, – ответил он.

– Бога ради, не лучше ли... нет, довольно, мы уже не раз это обсуждали. Возможно, вам тоже следует писать памфлеты, Камиль. Оставьте поэзию – попробуйте прозу.

– Его памфлет называется «Последний удар по предрассудкам и суеверию», – сказал Камиль. – Непохоже, чтобы он был последним. Судя по всему, памфлет ждет такой же успех, как те унылые пьесы, которые он сочиняет.

– В тот день, когда вы... – начал Бийо.

Д'Антон прервал его:

– Не шумите. – Он передал бумагу Бийо. – Что это за чушь?

– Вы намерены учить меня моему ремеслу, мэтр д'Антон?

– Почему бы нет, раз вы в нем не смыслите? – Он отложил бумаги. – Как поживает кузина Роз-Флер? Нет, не отвечайте, я сыт этим по горло.

Он поднес ладонь к подбородку.

– Тяжело дается респектабельность? – спросил его Камиль. – Это и впрямь так изматывает?

– Меня тошнит от вашего позерства, мэтр Демулен, – сказал Бийо.

– А меня от вас, упырь несчастный. Должно быть какое-нибудь другое применение вашим талантам, раз уж адвоката из вас не вышло. Стенать в склепах. Плясать на могилах.

Камиль вышел из конторы.

– Найдется ли его талантам применение? – спросил Жюль Паре. – Мы слишком воспитанны, чтобы строить догадки.

В Варьете швейцар заявил Камиллю:

– Вы опоздали.

Камиль не понял. В кассе двое мужчин спорили о политике, один из них поносил аристократию на чем свет стоит. Это был маленький, плотный мужчина, о таких говорят, что у них тело без костей, – из тех, что в обычные времена яростно отстаивают существующий порядок вещей.

– Эбер, Эбер, – сокрушался его оппонент, – помяните мое слово, когда-нибудь вас повесят.

Такое ощущение, подумал Камиль, что в наши дни подстрекательство к бунту разлито в воздухе.

– Поспешите, – сказал ему швейцар. – Он не в духе. Будет на вас кричать.

Внутри театра висел зловещий полумрак. Несколько безутешных исполнителей подпрыгивали на месте, пытаясь согреться. Филипп Фабр д'Эглантин стоял между сценой и певицей, которую только что прослушал.

– Вам следует отдохнуть, Анна, – сказал он. – Простите, душка, но это никуда не годится. Что вы сделали со своим горлом? Курили трубку?

Девушка сложила руки на груди и, кажется, была готова разреветься.

– Возьмите меня в хор, Фабр, – взмолилась она. – Ну пожалуйста.

– Мне жаль, но я не могу. Такое ощущение, что вы не поете, а кричите из горящего дома.

– Ничего вам не жаль. Скотина.

Камиль подошел к Фабру и проговорил прямо ему в ухо:

– Вы когда-нибудь были женаты?

Фабр подскочил на месте и обернулся.

– Что? Ни разу.

– Ни разу. – Камиль был впечатлен.

– Ну, не то чтобы...

– Я не собираюсь вас шантажировать.

– Ну ладно, ладно. Допустим, я женат. Она... гастролирует. Подождете меня еще полчаса? Я скоро закончу. Ненавижу эту поденщину, Камиль. Она недостойна моего гения. Я прозябаю, трачу время впустую. – Он взмахнул рукой в направлении сцены, танцоров и хмурого антрепренера в ложе. – Чем я все это заслужил?

– Сегодня с утра все в дурном настроении. У вас в кассе спорят о составе Генеральных штатов.

– А, Рене Эбер. Какой был огнеглотатель! Злитесь, что теперь его жребий – заведовать театральными билетами.

– Утром я видел Бийо. Он тоже был раздражен.

– Никогда не упоминайте при мне этого мерзавца. Задумал отнять хлеб у литераторов! Занимался бы своим делом и не лез в чужую епархию. Вот вы, Камиль, другое дело, – добавил Фабр добродушно. – Я бы не возражал, если бы вы написали пьесу, все равно адвокат из вас никакой. Камиль, дорогой, давайте посвятим наши дни какому-нибудь совместному замыслу!

– Полагаю, мне придется посвятить свои дни жестокой и кровавой революционной борьбе. Чему-то такому, что глубоко оскорбит моего отца.

– Я не заглядывал так далеко вперед, я думал о выгоде, – с упреком заметил Фабр.

Камиль ушел в темноту зала и стал смотреть, как Фабр выходит из себя. Певица рухнула в кресло неподалеку. Опустив голову, она принялась вращать подбородком, чтобы расслабить шейные мышцы, затем запахнулась в шелковую шаль с оборкой, хранящую следы былой роскоши. Вид у нее был взъерошенный и слегка потрепанный, под стать шали, и она явно была не в духе. Певица окинула взглядом Камиля:

– Мы знакомы?

В ответ он молча смотрел на нее. Лет двадцать семь, хрупкая, темно-каштановые волосы, курносый нос. Она была довольно хорошенькой, однако черты лица казались смазанными, словно ее долго били по голове, потом починили, но не до конца. Певица повторила свой вопрос.

– Я восхищен прямизной вашего подхода, – сказал ей Камиль.

Она улыбнулась. Нежный податливый рот. Она принялась массировать горло.

– Я правда подумала, что мы знакомы.

– Я сам этому удивляюсь. В последнее время мне кажется, что я знаю в Париже всех. Это похоже на галлюцинацию.

– Вы знаете Фабра. Не могли бы вы мне помочь? Замолвить словечко, привести его в хорошее расположение духа? – Она покачала головой. – Нет, забудьте. Он прав, голос пропал. Я училась в Англии, вы можете в это поверить? Мечтала о славе. Не представляю, чем мне теперь заняться.

– А как вы справлялись раньше? Чем занимались, помимо пения?

– Спала с маркизом.

– А что мешает продолжить?

– Даже не знаю. У меня впечатление, что маркизы нынче не при деньгах, да и я не хочу разбрасываться. Впрочем, главное не сидеть на месте. Отправляюсь в Геную, когда-то у меня был там ангажемент.

Ему нравился ее голос, заграничный акцент, хотелось ее разговорить.

– Откуда вы родом?

– Из-под Льежа. Мне пришлось побродить по свету. – Певица положила щеку на руку. – Меня зовут Анна Теруань. – Она закрыла глаза. – Господи, как я устала. – Анна повела худенькими плечиками под шалью, словно пыталась стряхнуть тяжесть этого мира.

Клод был дома на улице Конде.

– Я удивлен вашему приходу. – Впрочем, удивленным он не выглядел. – Вы уже получили ответ. Другого не будет. И не надейтесь.

– Думаете, вы бессмертны? – спросил Камиль, который приготовился к драке.

– Не могу поверить, что вы мне угрожаете, – заметил Клод.

– Послушайте, – сказал Камиль, – пройдет каких-нибудь пять лет, и ничего этого не будет в помине. Ни чиновников казначейства, ни аристократов, люди будут жениться по любви, не станет ни монархии, ни парламентов, и вы не посмеете мне указывать.

Никогда еще Камиль не позволял себе таких речей. Какое облегчение, думал он. Зря я не избрал преступную карьеру.

В соседней комнате Аннетта застыла в кресле. За последние полгода Клод впервые пришел домой так рано. Камиль не знал, что его застанет, просто не думал об этом. Он хочет жениться на моей дочери, думала Аннетта, потому что ему сказали, что *у него ничего не получится*. Несколько лет она выращивала это свирепое эго в собственной гостиной, подкармливая, словно диковинное растение, кофе мокко и маленькими секретамми.

– Люсиль, – обратилась она к дочери, – сиди смирно и не вздумай выходить из комнаты. – Я не позволю, чтобы ты попирала отцовскую власть.

– Ты называешь это властью? – спросила Люсиль и в страхе выбежала из комнаты.

Камиль был бледен от гнева, его глаза расплывались, словно темные пятна. Она встала у него на пути.

– Вам следует знать, – обратилась она ко всем, кого это касалось, – что я не собираюсь жить так, как за меня решили. Камиль, меня пугает обыденность. Меня пугает скука.

Кончиками пальцев он провел по тыльной стороне ее ладони. Они были холодны как лед. Он круто повернулся. Дверь за ним захлопнулась. У нее не осталось ничего, кроме холодка на крохотных островках кожи. Она слышала, как в гостиной мать захлебывается рыданиями.

– Никогда, – промолвил ее отец, – никогда за двадцать лет в этом доме не было сказано грубого слова, никогда и никто не повышал голоса на моих дочерей.

Вышла Адель.

– Добро пожаловать в реальный мир.

Клод заломил руки. Никогда им не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь так делал.

Сын Д'Антон был крепкий, со смуглой кожей, копной темных волос и отцовскими глазами, удивительного светло-голубого цвета. Шарпантье нависали над колыбелью, ища сходство и гадая, кем он вырастет. Габриэль была довольна собой. Она хотела сама кормить ребенка грудью, не отсылая кормилице.

– Десять лет назад, – заметила ее мать, – для женщины твоего положения подобное было немислимо. Только подумать, жена адвоката.

Она покачала головой, осуждая современные нравы. Что ж, ответила Габриэль, возможно, некоторые изменения к лучшему? Впрочем, ничего особенного она в виду не имела.

На дворе май 1788 года. Король объявил, что намерен запретить парламенты. Некоторые парламентарии под арестом. Доходы составляют пятьсот три миллиона, расходы – шестьсот двадцать девять. На улице свинья гонится за ребенком и набрасывается на него прямо под окном Габриэль. Она обеспокоена. После рождения малыша Габриэль не желает никаких волнений.

Поэтому в квартальный день они переехали в комнаты на первом этаже на углу улицы Кордельеров и Кур-дю-Коммерс. Ее первой мыслью было: мы не можем себе такого позволить. Сюда нужна новая мебель – это жилище уважаемого человека.

– Жорж-Жак не мелочится, – заметила ее мать.

– Вероятно, его практика идет в гору.

– В гору? Дорогая, я всегда ценила твой смиренный нрав, но нельзя же быть такой дурочкой!

Габриэль спросила мужа:

– У нас есть долги?

– Позволь мне самому об этом позаботиться, – ответил тот.

На следующий день д'Антон остановился в дверях, чтобы пропустить даму, которая вела за руку девочку лет девяти-десяти. Они познакомились. Ее звали мадам Жели, а ее муж, Антуан, служил в Шатле. Возможно, мсье д'Антон его знает? Мсье д'Антон его знал. А девочка ваша старшенькая? Ах да, это Луиза, она у меня единственная, и перестань хмуриться, Луиза, иначе навсегда такой останешься.

– Будьте добры передать мадам д'Антон, чтобы не стеснялась обращаться, если потребуется помощь. На следующей неделе, когда обустроитесь, приходите к нам ужинать.

Луиза последовала по лестнице за матерью, на прощание одарив его пристальным взглядом.

Он застал Габриэль сидящей на дорожном сундуке. Она пыталась соединить половинки разбитой тарелки.

– Это все, что разбилось при переезде, – сказала она, вскакивая с сундука и целуя его. – Новая кухарка готовит обед. А еще сегодня утром я наняла служанку, ее зовут Катрин Мотэн, она молода и запросила недорого.

– Я только что встретил соседку сверху. Большая жеманница. Она была с дочерью, примерно такого роста. Дочь одарила меня весьма подозрительным взглядом.

Габриэль обхватила его за шею:

– Ты же знаешь, твой вид не внушает доверия. Дело закончено?

– Да, я выиграл.

– Ты всегда выигрываешь.

– Не всегда.

– Я предпочитаю думать, что всегда.

– Как пожелаешь.

– Ты не против того, что я тебя обожаю?

– Сложный вопрос. Меня спрашивали, смогу ли я вынести тяжкий груз женских ожиданий? Говорили, с женщиной нельзя быть всегда правым.

– Кто говорил?

– Камиль.

Младенец заплакал. Габриэль отошла к нему. Этот разговор он вспомнит пять лет спустя: крики новорожденного, ее разбухшая от молока грудь, сладостный привкус необязательности, который нес в себе этот день. А еще запах мастики и краски, и новый ковер, и стопку счетов на бюро, и летнюю листву на молоденьких деревьях снаружи.

Рост цен в период с 1785 по 1789 год:

Пшеница – 66 %

Рожь – 71 %

Мясо – 67 %

Дрова – 91 %

Журналист Станислас Фрерон был однокашником Камилы. Он жил за углом и издавал литературный журнал. Его шутки были язвительными, он слишком много внимания уделял своему костюму, но Габриэль терпела его, потому что он был крестником особы королевской крови.

– Полагаю, мадам д'Антон, здесь вы устроите салон. – Он упал в одно из ее новых пурпурных кресел. – Не смотрите на меня так. Почему бы супруге королевского советника не держать салон?

– Это не про меня.

– Так дело в вас. Я-то думал, вы считаете второсортными нас. – Он вежливо улыбнулся. – Разумеется, так оно и есть. А Фабр у нас и вовсе третьего сорта. – Фрерон подался вперед и сложил ладони домиком. – Люди, которыми мы восхищались в юности, либо мертвы, либо впали в старческое слабоумие, либо преспокойно живут на пенсии двора, выделенные, чтобы утишить огонь их ярости, – хотя думается мне, именно это и разжигает ярость. Помните, какой был скандал, когда мсье Богарне решил поставить свои пьесы, а этот безграмотный увалень, наш король, самолично их запретил, сочтя подрывающими государственный строй? Оказалось, впрочем, что на деле мсье Богарне хотел возвести самый роскошный особняк в столице и сейчас строит его вблизи Бастилии, вблизи вонючего одного из самых мерзких обиталищ Парижа. А взять... впрочем, примеров не счесть. Идеи, которые почитались опасными двадцать лет назад, сейчас общее место, хотя зимой люди по-прежнему умирают на улицах, по-прежнему голодают. Мы же, в свою очередь, протестуем против существующего порядка лишь потому, что отчаялись одолеть грязные ступени иерархической лестницы. Если Фабра, к примеру, завтра изберут в Академию, наутро его страсть к общественным преобразованиям как ветром сдует.

– Отличная речь, Кролик, – заметил д'Антон.

– Мне не нравится, когда Кроликом меня называет Камиль, – заметил Фрерон со сдержанным раздражением. – А теперь его примеру последовали остальные.

Д'Антон улыбнулся.

– Продолжайте, – сказал он, – расскажите нам об этих людях.

– Что ж... вы знакомы с Бриссо? Сейчас он в Америке, у Камиля есть его письмо. Только и знает, что раздавать советы. Великий теоретик Бриссо, великий политический философ, у которого за душой нет запасной сорочки. И же с ним профессиональные американцы, ирландцы, женеvцы – все эти правительства в изгнании, все эти продажные политиканы, шелкоперы, бездарные адвокатишки – люди, делающие вид, будто ненавидят то, чего на самом деле страстно желают.

– Легко вам говорить. Вы принадлежите к привилегированному сословию, вам цензоры не страшны. Радикальные взгляды – роскошь, которую вы можете себе позволить.

– Вы унижаете меня, д'Антон.

– Вы унижаете своих друзей.

Фрерон вытянул ноги.

– Признаюсь, крыть мне нечем, – нахмурился он. – И все же почему он зовет меня Кроликом?

– Понятия не имею.

Фрерон снова обратился к Габриэль:

– Не оставляю надежды, что вы устроите здесь салон. У вас есть я, Франсуа Робер с женой – Луиза Робер собирается написать роман об Аннетте Дюплесси и скандале на улице Конде, но боится, что читатели сочтут персонажа Камиля надуманным.

Роберы поженились недавно, души не чаяли друг в друге и отчаянно нуждались в деньгах. Он преподавал право, дружелюбный здоровяк двадцати восьми лет, который легко поддавался внушению. До замужества Луиза звалась мадемуазель де Кералио. Дочка королевского цензора, она выросла в Артуа, аристократический отец не одобрил ее жениха, и Луиза взбунтовалась. Неприятие семьи оставило их без средств и лишило Франсуа карьерных перспектив. Поэтому они арендовали на улице Конде лавку и открыли магазинчик колониальных товаров. Теперь Луиза Робер, подвернув подол, сидела за кассой, опустив глаза в томик Руссо и прислушиваясь к болтовне покупателей и разговорам о росте цен на черную патоку. По вечерам она готовила мужу ужин и тщательно подсчитывала дневную выручку, распрямив надменную спину и складывая чеки в стопку. Закончив, она болтала с Франсуа о янсенизме, отправлении правосудия и структуре современного романа, а потом лежала без сна в темноте, мерзла и молилась о бесплодии.

Жорж-Жак говорил: «Здесь я чувствую себя дома». По вечерам он гулял по окрестностям, поднимая шляпу при виде дам, вступая в диалог с их мужьями и всякий раз возвращаясь с порцией свежих новостей. Лежандр, мясник, был прекрасным товарищем и занимался доходным делом. Сосед напротив, на вид простак, оказался настоящим маркизом. Маркиз Сент-Юрюж затаил обиду против нынешней власти. Фабр рассказывал его невероятную историю о мезальянсе и *lettre de cachet*.

Мы могли бы жить потише, рассуждал Жорж-Жак, но гостиную почти всегда заполняли малознакомые люди, и они с Габриэль никогда не ужинали в одиночестве. Работал он теперь на дому, переделав в кабинет маленькую комнату, которая иначе стала бы их столовой. В течение дня в гостиную Габриэль заглядывали секретари Паре и Дефорг. Молодые люди, которых она видела первый раз в жизни, звонили в дверь, чтобы спросить, не знает ли она, где сейчас проживает Камиль? Однажды, не выдержав, она ответила: «Можно сказать, что здесь».

Ее мать приходила раз или два в неделю, чтобы покудахтать над младенцем, побранить слуг и заявить: «Ты знаешь, Габриэль, мое дело сторона». Габриэль ходила за покупками,

ей нравилось самой выбирать овощи и подсчитывать сдачу. Луиза Жели таскалась за ней под предлогом помочь с тяжестями, а мадам Жели заходила обсудить местных лавочников и обменяться мнениями о людях, которых они встречали на улицах. Габриэль нравилась Луиза: открытая, проворная, порой задумчивая, не по годам развитая, как всякий единственный ребенок в семье.

– У вас всегда так шумно, – говорила девочка. – Входят и выходят столько дам и господ. Вы не возражаете, если я буду иногда к вам заглядывать?

– Если обещаешь хорошо себя вести и сидеть тихо. И когда там буду я.

– О, без вас я не решусь. Я побаиваюсь мэтра д'Антоня, у него такой грозный вид.

– На самом деле он очень добрый.

На детском личике отразились сомнения, затем оно просветлело.

– Я выйду замуж за первого, кто меня позовет, – сказала малышка. – Заведу много детей и каждый день буду давать обеды.

Габриэль рассмеялась:

– Не спеши! Тебе всего десять лет.

Луиза Жели искоса посмотрела на нее:

– Я не собираюсь ждать до старости.

Тринадцатого июля над страной бушевали ливни с градом. Это описание не дает ни малейшего представления о масштабе стихии – словно Господь обрушил на нас всю силу ледяного презрения. На улицах творилось что-то невообразимое. Сады опустели, колосья в полях полегли. Весь день громыхали окна и двери. Такого на нашем веку еще не было. В ночь с тринадцатого на четырнадцатое перепуганные жители улеглись в постель, опасаясь худшего. Проснулись они в тишине. Город обезлюдел, стояла жара, и люди изумлялись расщепленному свету, словно вся Франция ушла под воду.

Ровно за год до катаклизма Габриэль перед зеркалом поправляла шляпку. Она собиралась выйти из дому, чтобы прикупить добротной шерстяной материи Луизе на зимние платья. Мадам Жели не отличалась предусмотрительностью, а Луизе хотелось, чтобы зимние платья были готовы к концу августа. Никто не знает, какая будет погода, рассуждала она, и, если внезапно похолодает, мне будет не в чем выйти из дому. С прошлой зимы Луиза сильно вытянулась. Не то чтобы я собиралась выходить зимой, но, возможно, вы возьмете меня с собой в Фонтене, повидаться с вашей матушкой, говорила Луиза, а Фонтене за городом.

Кто-то подошел к двери.

– Входи, Луиза, – сказала Габриэль, но никто не вошел.

Служанка Катрин укачивала плачущего младенца. Габриэль сама подошла к двери, держа в руках шляпу. За дверью стояла незнакомая девушка. Она посмотрела на Габриэль, на шляпку и отступила назад.

– Вы уходите.

– Могу я вам помочь?

Девушка оглянулась:

– Можно мне войти? Всего на пять минут? Это прозвучит странно, но я уверена, слугам велели за мной следить.

Габриэль посторонилась. Девушка вошла, сняла широкополую шляпку, тряхнула темными волосами. На ней был синий льняной жакет, подчеркивавший осиную талию и гибкий стан. Она застенчиво провела рукой по волосам, подняла подбородок, поймала в зеркале свое отражение. Внезапно Габриэль почувствовала себя приземистой, дурно одетой, недавно родившей женщиной.

– Вероятно, – промолвила она, – вы Люсиль.

– Я пришла, – сказала Люсиль, – потому что все ужасно и мне отчаянно хочется об этом поговорить, а Камиль сказал, что вы добры и великодушны и я непременно вас полюблю.

Габриэль передернуло. Какой низкий, презренный трюк: после того как он похвалил меня, могу ли я высказать ей, что о нем думаю? Она положила шляпу на кресло.

– Катрин, сбегай наверх и скажи, что я задержусь. А потом принеси лимонад. Сегодня жарко, не правда ли?

Люсиль посмотрела на нее: глаза как полуночные фиалки.

– Итак, мадемуазель Дюплесси, вы поссорились с родителями?

Люсиль оперлась на кресло:

– Отец расхаживает по дому, повторяя: «Неужели в наше время отцовскую власть не ставят ни во что?» Говорит нараспев, словно читает заупокойную мессу. Сестра повторяет за ним, заставляя меня хохотать.

– Это правда? Отцовская власть для вас ничто?

– Я верю в право не повиноваться властям, если они заблуждаются.

– А что говорит ваша мать?

– Ничего. Она успокоилась. Знает, что мы состоим в переписке. Делает вид, будто не знает.

– Какое неблагоприятие.

– Я оставляю письма там, где она может их прочесть.

– Это не приносит вам обоим ничего хорошего.

– Только плохое.

Габриэль покачала головой:

– Я вашего поведения не одобряю. Я никогда не перечила родителям. И никогда их не обманывала.

– Но вы согласитесь, что женщина имеет право выбирать себе мужа? – страстно промолвила Люсиль.

– Соглашусь, но нельзя забывать о благоразумии. Неблагоразумно связывать судьбу с мэтром Демуленом.

– О, вы бы никогда так не поступили, не правда ли? – Люсиль задумалась, словно выбирала в лавке кружева. Затем на дюйм приподняла ткань юбки и протатила между пальцами. – Видите ли, мадам д'Антон, я люблю его.

– Сомневаюсь. Вы в таком возрасте, когда нельзя не влюбляться, все равно в кого.

Люсиль посмотрела на нее с любопытством:

– До того как вы встретили вашего мужа, вы часто влюблялись?

– Честно говоря, нет, я не такая.

– А что заставляет вас думать, будто я такая? Эти разговоры про возраст, так говорят все взрослые. Думают, что имеют право выносить свои замшелые суждения о твоей жизни!

– Моя мать, женщина опытная, назвала бы это страстным увлечением.

– Забавно иметь мать с таким опытом. Совсем как у меня.

Габриэль начала раздражаться. К чему ей неприятности под ее собственной крышей? Способна ли она убедить эту молоденькую дурочку? Или та совсем утратила здравый смысл? А может, никогда им не обладала?

– Мать учила меня никогда не пенять мужу на выбор друзей, – сказала она. – Однако если я скажу вам, что не одобряю...

– Кажется, теперь я поняла.

Габриэль представила, как выглядела со стороны, когда ковыляла по дому в те месяцы, когда ждала ребенка. Беременность, разрешившаяся так счастливо, была испытанием и неудобством. Уже на четвертом месяце она заметно раздалась и замечала порой, как люди бесстыдно ее разглядывают. И она знала, что после родов они начнут считать на пальцах. Недели шли,

Жорж-Жак не избегал ее, но держался отчужденно. Заговаривал с ней, но по большей части о домашних делах. Ей не хватало старого доброго кафе больше, чем она могла себе представить, не хватало нетребовательной мужской компании, пустой болтовни об отвлеченных материях.

Поэтому... нет, она не возражала, когда Жорж приводил домой приятелей. Но только Камиль всегда был на подходе или как раз собирался уходить. Если он присаживался, то на самый краешек кресла, а если оставался в покое больше чем полминуты, значит валился с ног от усталости. Тревожный блеск его глаз с поволокой рождал необъяснимую тревогу в ее отяжелевшем теле. Ребенок родился, тяжесть ушла, а тревога осталась.

– Камиль – это туча на моем небосклоне, – сказала она. – Жало в мою плоть.

– Бога ради, мадам д'Антон, какие метафоры вы выбираете!

– Прежде всего... вы знаете, что у него нет денег?

– Зато у меня есть.

– Он не может просто жить за ваш счет.

– Множество мужчин живут за счет женщин. В этом нет ничего стыдного, так принято в определенных кругах.

– А эта история с вашей матерью? То, что они были... даже не знаю, как сказать...

– Я тоже не знаю, – заметила Люсиль. – Для этого есть термины, но сегодня утром я не настроена быть развязной.

– Но вы должны знать.

– Моя мать не станет со мной откровенничать. Я могла бы спросить Камилля. Но зачем заставлять его лгать? Поэтому я предпочитаю не думать об этом. Для меня это заверченный эпизод. Видите ли, я думаю о Камиле дни напролет. Я мечтаю о нем – не осуждайте меня за это. Я пишу ему, а потом рву письма. Воображаю, что случайно встречу его на улице...

Люсиль замолчала, подняла руку и откинула со лба воображаемую прядь. Габриэль смотрела на нее со страхом. Этот ее жест, это была настоящая одержимость. Люсиль повторяла его осознанно, она разглядывала себя в зеркале, она думала, что вызывает его дух.

Катрин заглянула в дверь:

– Мсье сегодня рано.

Габриэль подскочила на месте. Люсиль откинулась на спинку кресла, вытянула руки вдоль подлокотников и изогнула их, словно кошка, показывающая коготки. Вошел д'Антон. Снимая сюртук, он сказал:

– Вокруг Дворца Сите толпа, а поскольку ты велела мне держаться подальше от неприятностей, я вернулся пораньше. Народ запускает петарды и выкрикивает имя герцога Орлеанского. Гвардейцы не вмешиваются... – Тут он заметил Люсиль. – Вижу, неприятности сами явились в наш дом. Камиль беседует с Лежандром, сейчас он появится. Лежандр – это наш мясник, – добавил он непонятно зачем.

Когда Камиль возник в дверях, Люсиль легко вскочила с кресла, пересекла комнату и поцеловала его в губы. Она разглядывала в зеркале себя, разглядывала в зеркале его. Люсиль видела, как мягко он снял ее руки со своих плеч и сложил ее ладони, словно в молитве. Камиль видел, как сильно она изменилась, перестав пудрить волосы, какими выразительными стали ее черты, как сияла ее кожа. Видел, что враждебность Габриэль по отношению к нему немного рассеялась. С каким выражением Габриэль посмотрела на мужа, затем перевела глаза на Люсиль. Видел, как д'Антон подумал, в кои-то веки он не солгал мне, не преувеличил, когда сказал, что Люсиль красавица. Все это заняло мгновение. Камиль улыбнулся. Все его прегрешения будут прощены, если он любит Люсиль. Люди сентиментальные простят его, а он умеет возбуждать сентименты. Возможно, он впрямь ее любит. Как иначе назвать ту горькую сосредоточенность, которую он видит на лице Люсиль и которая – он это чувствует – отражается на его лице?

Но что привело Люсиль в такое состояние? Должно быть, его письма. Внезапно он вспомнил слова Жоржа: «Попробуйте прозу». Возможно, к этим словам стоит прислушаться. Ему есть что сказать, и если он способен выразить свои запутанные и болезненные отношения с семейством Дюплесси в нескольких страницах, то обрисовать на бумаге состояние страны покажется детской забавой. Его жизнь нелепа и вызывает смех, зато его проза своей отточенностью и изяществом будет вызывать слезы и скрежет зубовой.

На целых тридцать секунд Люсиль забыла про зеркало. Впервые в жизни она чувствовала, что управляет своей жизнью, что она стала собой, что она больше не зрительница. Но сколько это продлится? Его присутствие, столь желанное раньше, внезапно стало невыносимым. Ей хотелось, чтобы он ушел, и тогда она снова погрузится в мечты о нем, однако, высказав она подобное пожелание вслух, ее непременно сочтут умалишенной. Камиль мысленно оттачивал первую и последнюю фразы будущего политического памфлета, но его взгляд не отрывался от ее лица. Поскольку он был на редкость близорук, взгляд его казался донельзя сосредоточенным, и под этим взглядом у нее подгибались колени. Глубоко уйдя каждый в свои раздумья, они замерли, загипнотизированные, пока – как бывает всегда – мгновение не ушло.

– Итак, перед нами создание, перевернувшее дом вверх дном, подкупившее слуг и священника, – сказал д'Антон. – Скажите, милая, вы слышали о комедиях английского драматурга мистера Шеридана?

– Нет.

– Уж не думаете ли вы, что жизнь должна подражать искусству?

– Мне достаточно того, что она подражает жизни. – Люсиль посмотрела на часы. – Меня убьют.

Послав им воздушный поцелуй и подхватив шляпу с перьями, она бросилась вниз по ступенькам. В спешке Люсиль едва не сбила с ног девочку, которая, судя по всему, подслушивала под дверью и неожиданно заявила ей:

– Мне нравится ваш жакет.

Ночью в постели она думала, хм, этот большой грубый человек, кажется, я его очаровала.

Восьмого августа король объявил дату созыва Генеральных штатов – первое мая 1789 года. Через неделю генеральный контролер финансов Бриенн обнаружил (по крайней мере, так было заявлено), что средств в казне хватит на четверть дневных трат, и заявил, что правительство приостанавливает все платежи. Франция стала банкротом. Его величество продолжал охотиться и если не убивал зверя, то помечал этот факт в дневнике: *rien, rien, rien*<sup>8</sup>. Бриенна отправили в отставку.

Все так перемешалось, что Клода легче было застать в Париже, чем в Версале. Утром он вышел в палящий августовский зной, направляясь к кафе «Фуа». В иные годы август заставлял его сидящим у открытого окна в Бур-ла-Рен.

– Доброе утро, мэтр д'Антон, – поздоровался он. – Мэтр Демулен. Не знал, что вы знакомы. – Кажется, это открытие причинило ему боль. – Что скажете? Так долгие продолжаться не может.

– Думаю, нам следует положиться на ваше мнение, мсье Дюплесси, – сказал Камиль. – Вы не думаете, что мсье Неккер может вернуться?

– А что это изменит? – ответил Клод. – Тут не справился бы даже аббат Терре.

– Есть новости из Версаля? – спросил д'Антон.

– Я слышал, – сказал Камиль, – что, когда королю надоедает охотиться, он залезает на крышу и стреляет по кошкам придворных дам. Как думаете, это правда?

---

<sup>8</sup> Ничего, ничего, ничего (*фр.*).

– Я бы не удивился, – ответил Клод.

– Многих поражает, насколько ухудшилось положение после Неккера. Если мы вернемся в восемьдесят первый год, то, если верить ревизорам, тогда был профицит.

– Состряпано, – уныло промолвил Клод.

– Неужели?

– Не подкопаться.

– Вот вам и Неккер, – заметил д'Антон.

– Не судите его слишком строго, – возразил Камиль. – Возможно, он полагал, что важнее всего доверие общества.

– Иезуит, – сказал д'Антон.

Клод обернулся к нему:

– Говорят, д'Антон... слухами земля полнится... что ваш патрон Барантен уходит из Палаты акцизных сборов – его пригласили возглавить Министерство юстиции в новом правительстве. – Он улыбнулся усталой улыбкой. – Для меня это печальный день. Я бы все отдал, чтобы этого избежать. Это может дать толчок непредсказуемым стихиям...

Его взгляд остановился на Камиле. Этим утром Камиль вел себя на редкость благонаравно, но, с точки зрения Клода, он определенно был стихией непредсказуемой.

– Мэтр Демулен, надеюсь, вы больше не вынашиваете замыслов жениться на моей дочери?

– Напротив.

– Если бы вы могли посмотреть на это с моей точки зрения.

– Боюсь, я способен смотреть на это только с собственной.

Мсье Дюплесси отвернулся. Д'Антон положил руку ему на плечо:

– Насчет Барантена вы можете сказать что-нибудь еще?

Клод поднял указательный палец:

– Чем меньше будет сказано, тем лучше. Полагаю, я не сболтнул лишнего. Надеюсь на скорую встречу. – Он уныло взглянул на Камилу. – И вам всего доброго.

Камиль смотрел ему вслед.

– Слухами земля полнится! – выпалил он. – Вы когда-нибудь такое слышали? Надо устроить состязание между ним и мэтром Вино, кто употребит больше клише. Хм, – внезапно добавил он, – я, кажется, понял, что он имел в виду. Вас собираются позвать в министерство.

Вступив в должность, Неккер сразу начал договариваться об иностранном займе. Парламенты созвали снова. Цена на хлеб выросла на два су. Двадцать девятого августа толпа сожгла караульные будки на Новом мосту. Король нашел деньги, чтобы ввести в столицу войска. Солдаты открыли огонь по толпе из шестисот человек, семеро или восьмеро были убиты, раненых никто не считал.

Мсье Барантена назначили министром юстиции и хранителем печатей. Толпа соорудила из соломы куклу его предшественника и сожгла ее на Гревской площади под гиканье, свист, треск, шипение пламени и пьяные песни гвардейцев, которых расквартировали в столице и которым были по душе подобные развлечения.

Д'Антон изложил свои резоны четко, бесстрастно и не увиливая. Он заранее продумал, что скажет, поэтому был предельно недвусмыслен. О том, что Барантен предложил ему пост секретаря, скоро узнают в Отель-де-Виль, министерствах, везде. Фабр посоветовал ему подарить Габриэль букет и сообщить ей об этом как можно мягче.

Дома были мадам Шарпантье и Камиль. Когда он вошел, они замолчали. Атмосфера сгустилась, но Анжелика решила принять удар на себя. Она просияла и расцеловала зятя в обе щеки.

– Дорогой сынок Жорж, – сказала она, – прими мои самые сердечные поздравления.  
– По какому поводу? – осведомился он. – Процесс не завершен. В наши дни судоговорение тянется, как патока.

– Мы слышали, – сказала Габриэль, – что тебе предложили должность в правительстве.

– Да, но я отклонил предложение.

– А я вам говорил, – заметил Камиль.

Анжелика встала:

– Пожалуй, я пойду.

– Я провожу тебя, – сказала Габриэль заученным тоном. Ее лицо пылало.

Она встала, женщины вышли, за дверью раздался шепот.

– Анжелика научит ее хорошим манерам, – сказал д'Антон.

Камиль сидел и улыбался.

– Ты так доверчива. Входи, успокойся и закрой дверь, – сказал д'Антон вернувшейся жене. – Постарайся понять, что я сделал это ради нашего будущего.

– Когда он заявил, – она показала на Камилу, – что ты откажешься, я спросила его, неужто он принимает меня за дурочку?

– Это правительство не протянет до конца года. Мне этого мало, Габриэль.

Она смотрела на него, раскрыв рот:

– И что ты намерен делать? Откажешься от практики, потому что тебя не устраивают законы? Ты говорил, у тебя есть честолюбивые надежды...

– А теперь их еще больше, – перебил ее Камиль. – Он слишком хорош для проходной должности в правительстве Барантена. Возможно, однажды он согласится принять государственную печать.

Д'Антон рассмеялся:

– Если такое случится, я отдам ее тебе. Обещаю.

– Вы говорите, как государственные изменники, – заметила Габриэль. Ее прическа растрепалась, как бывало в моменты душевного волнения.

– Не отклоняйтесь от темы, – сказал ей Камиль. – Жорж-Жаку уготовано великое будущее, и никто не встанет у него на пути.

– Вы с ума сошли. – Габриэль тряхнула головой, и шпильки дождем посыпались на пол. – Не выношу, когда ты подлаживаешься под мнение других, Жорж.

– Я подлаживаюсь? Ты так думаешь?

– Это не так, – поспешно вставил Камиль, – ему это несвойственно.

– Он слушает вас и ни во что не ставит меня.

– Потому что... – Камиль запнулся. Он не мог придумать причины, которая не обидела бы Габриэль. Затем обернулся к д'Антону. – Мне удастся вытащить вас вечером в кафе «Фуа»? Возможно, надо будет произнести небольшую речь, вы же не против, конечно нет.

Габриэль подняла взгляд от пола, сжимая шпильки в руке.

– Ты понимаешь, что прославился? В своем роде?

– Еще нет, – скромно заметил Камиль, – но это только начало.

– Ты же не возражаешь? – спросил д'Антон жену. – Я вернусь не поздно. И как только вернусь, постараюсь все объяснить. Габриэль, брось ты их, Катрин подберет.

Габриэль снова покачала головой. Никто ей ничего не объяснит, и она сама решит, просить ли Катрин ползать по ковру в поисках ее шпилек. И как он этого не понимает?

Мужчины спустились по лестнице.

Камиль сказал:

– Боюсь, Габриэль раздражает мое присутствие. Даже когда на ее пороге возникла моя отчаянная невеста, она не перестала верить, что я попытаюсь затащить вас в постель.

– А вы не пытаетесь?

– Время думать о высоком, – сказал Камиль. – О, я так счастлив. Все только и говорят, что о грядущих переменах, все твердят, что страну ждут перемены. Они говорят, а вы верите. И действуете. Действуете открыто.

– Давным-давно жил один папа – забыл его имя, – который твердил всем и каждому, что мир подходит к концу. И когда они выставили свои имения на продажу, он скупил их и разбогател.

– Прелестная история, – сказал Камиль. – И хоть вы не папа, думаю, вы своего не упустите.

Как только в Аррасе прослышали о выборах, Максимилиан занялся приведением в порядок своих дел.

– Откуда ты знаешь, что тебя выберут? – спросил брат Огюстен. – Они могут объединиться против тебя, что весьма вероятно.

– Значит, до выборов буду держать рот на замке, – мрачно ответил он. В провинциях право голоса имели почти все, а не только денежные мешки. И поэтому: – Они меня не удержат, – сказал Максимилиан.

– Они будут неблагодарными животными, если не выберут тебя, – заметила сестра Шарлотта. – После того, сколько ты сделал для бедняков. Ты это заслужил.

– Я старался не ради награды.

– Ты трудился не покладая рук, не искал ни денег, ни влияния. Не делай вид, будто тебе это нравилось. Не притворяйся святым.

Он вздохнул. Шарлотта умела кромсать до кости. Острым семейным ножом.

– Я знаю, о чем ты думаешь, Макс, – сказала Шарлотта. – Ты не веришь, что вернешься из Версаля ни через полгода, ни через год. Думаешь, это изменит твою жизнь. Хочешь, чтобы революцию устроили исключительно ради твоего удовольствия?

– Меня не волнует, чем занимаются Генеральные штаты, – заявил Филипп Орлеанский, – до тех пор, пока я там, когда речь идет о свободе личности. Я должен иметь возможность проголосовать за закон, который даст мне уверенность, что, если мне взбрдет в голову заночевать в Ренси, никто насильно не отправит меня в Виллер-Котре.

К концу 1788 года герцог нанял нового секретаря. Ему нравилось шокировать людей, что и стало главной причиной, почему он выбрал именно этого человека. К герцогской свите присоединился армейский офицер по фамилии Лакло. Ему было около пятидесяти, высокий угловатый мужчина с выразительным лицом и холодными голубыми глазами. Он поступил на армейскую службу в восемнадцать, но никогда не участвовал в сражениях. Когда-то его это огорчало, но двадцать лет в провинциальном гарнизоне воспитали в нем философское безразличие ко всему на свете. Забавы ради он баловался стихами, а еще написал либретто оперы, снятой с репертуара после первого представления. Он наблюдал за людьми, записывал особенности их маневров, их борьбы за власть. Двадцать лет у него не было другого занятия. Он презирал все, чему другие завидуют и чем восхищаются и желал лишь того, чем не мог обладать.

Его первый роман «Опасные связи» был опубликован в Париже в 1782 году. Его распродали в течение нескольких дней. Издатели потирали руки и замечали, что, если публика сходит с ума по этой бесстыдной и циничной книге, не им ей указывать, пусть этим занимаются цензоры. Второе издание тоже разошлось мгновенно. Матроны и епископы пылали возмущением. Экземпляр в переплете без названия был заказан для личной библиотеки королевы. Все двери захлопнулись перед автором, и он уехал в Париж.

По всему выходило, что его военной карьере пришел конец. В любом случае его критические высказывания об армейских порядках были несовместимы с дальнейшей службой.

– Кажется, он мне подходит, – сказал герцог. – От такого, как он, не ускользнет любое притворство.

Когда Фелисите де Жанлис узнала о новом секретаре, она пригрозила, что сложит с себя обязанности гувернантки герцогских отпрысков. Однако этим Лакло было не запугать.

Для герцога настало время ответственных решений. Чтобы извлечь выгоду из нынешних беспокойных времен, он нуждался в организации, в политической поддержке. Его дешевой популярностью среди парижан следовало воспользоваться с умом. Надо было найти верных людей, изучить их прошлое, спланировать будущее. Проверить сторонников. Кое-кого подкупить.

Оценив ситуацию, Лакло обратил свой холодный ум к решению этой задачи. Он знакомился с литераторами, которые были на примете у полиции. Тайно беседовал с эмигрантами, расспрашивая о причинах отъезда. Лакло раздобыл большую карту Парижа, на которой помечал синими кружками места, какие требовалось укрепить. Сидя под лампой, штудировал памфлеты, поступавшие от парижских издателей, ибо цензуру упразднили. Он искал самых отважных и бесшабашных и делал им предложение. Мало кому из этих литераторов повезло издать книгу, которую раскупали бы, словно горячие пирожки.

Теперь Лакло был человеком герцога. Лаконичный в суждениях, не склонный изливать душу, он был из тех, кого все знают только по фамилии. И он по-прежнему исподтишка наблюдал за мужчинами и женщинами, записывая свои наблюдения на случайных клочках бумаги.

В декабре 1778-го герцог распродал картинную галерею Пале-Рояля и пожертвовал деньги на нужды бедняков. Газеты писали, что он намерен ежедневно раздавать тысячу фунтов хлеба, оплачивать роды неимущим женщинам (даже тем, хихикали остроумцы, которых не сам обрюхатил), в своих имениях отказаться от десятины, собираемой зерном, и отменить в своих лесах запрет на охоту.

Эту программу придумала Фелисите. Всё ради блага страны. И немного ради блага Филиппа.

Улица Конде.

– Цензура отменена, – говорит Люсиль, – но уголовные наказания никто не отменял.

– К счастью, – замечает ее отец.

Первый памфлет Камиля лежит на столе, новехонький под бумажной обложкой. Его второй рукописный памфлет спрятан под первым. Издатель не касался его – еще рано. Ждем, когда ситуация ухудшится.

Пальцы Люсиль ласкают бумагу, чернила, шнурок.

Нашему времени суждено узреть возвращение французами свободы... сорок лет философия подрывала основы деспотизма, и подобно тому, как Рим до Цезаря был уже поработен своими грехами, так Франция до Неккера уже освободилась от рабства благодаря разуму... Патриотизм, словно великий пожар, распространяется день ото дня с устрашающей скоростью. Юные воспаляются, старики отказываются сожалеть о прошлом. Отныне они за него краснеют.

## Глава 6

### Последние дни Титонвиля (1789)

Письменные показания Генеральным штатам:

Население Шайвуа около двухсот человек. Большинство жителей не имеет никакой собственности, а тех, кто имеет, так мало, что они не заслуживают упоминания. Обычная пища представляет собой хлеб, размоченный в соленой воде. Мясо едят только на Пасху, во вторник на Масленой неделе и в день святого покровителя. Мужчины иногда едят фасоль, если хозяин разрешает вырастить ее в винограднике... Так живут простые люди в правление лучшего из королей.

Оноре Габриэль Рикетти, граф де Мирабо:

Мой девиз таков: войти в состав Генеральных штатов во что бы то ни стало.

Новый год. Выходишь на улицу и понимаешь: наконец-то настал крах, крушение мира. Такого холода не припомнит никто из живущих. Река – застывший кусок льда. В первое утро это всем в новинку. Дети с криком бегут к реке, тянут матерей посмотреть. «Хоть на коньках катайся», – удивляются люди. Спустя неделю они больше не могут на это смотреть и не выпускают детей из домов. Нищие под мостами жгут неверные, чадающие костерки в ожидании смерти. Хлеб в новом году стоит четырнадцать су.

Люди оставили свои ненадежные укрытия, свои шалаши, пещеры, занесенные снегом замерзшие поля, на которых уже не надеются ничего вырастить. Сложив в котомку несколько кусков хлеба или каштаны, прихватив вязанку хвороста и не попрощавшись, они отправляются в путь. Ради безопасности идут толпой, порой одни мужчины, порой семьями, держась землянков, с которыми говорят на одном языке. Поначалу поют и рассказывают истории. Спустя пару дней шагают молча. Раньше они шли бодрым шагом, теперь плетутся. Если повезет, можно переночевать в хлеву или сарае. Старух по утрам не могут пробудиться, а потом видят, что за ночь они сошли с ума. Детей оставляют у порогов деревенских домов. Некоторые умирают, кого-то подбирают сердобольные семьи и растят под новыми именами.

Те, кому удастся дойти до Парижа, сохранив силы, ищут работу. Местные говорят: тут и самим не устроиться, что говорить о пришлых. Поскольку реки замерзли, товары в город не подвозят: ни тканей для покраски, ни кожи для дубления, ни зерна. Корабли вмерзли в лед, пшеница гниет в трюмах.

Бродяги молча сбиваются в укрытия – о чем им говорить? Поначалу они слоняются на рынках по вечерам: обычно нераспроданный хлеб торговцы отдают задешево или просто раздают, однако свирепые парижские женщины успевают раньше. Скоро хлеба нет уже после полудня. Им сказали, что добрый герцог Орлеанский раздает хлеб тем, у кого пусто в карманах. Впрочем, и парижских женщин обставляют парижские нищие, мозолистые, с острыми локтями, готовые затоптать любого, кого угораздит угодить им под ноги. Нищие собираются на задних дворах, на папертях, везде, куда не дотянется острие ветра. Малолетних и дряхлых подбирают больницы. Изнуренные монахи и монахини пытаются закупить лишние простыни и свежий хлеб, но простыни грязны, а хлеб черств. Они твердят о Божественном промысле, ибо, будь сейчас не так холодно, эпидемии было бы не избежать. Женщины, производя на свет детей, рыдают от страха.

Даже богатым становится не по себе. Милостыня уже никого не спасает: замерзшие трупы валяются на фешенебельных улицах. Выходя из карет, богатеи закрывают лица плащами, чтобы уберечь щеки от пронизывающего ветра, а глаза – от неприглядного зрелища.

– Вы уезжаете домой ради выборов? – спросил Фабр. – Камиль, вы не можете бросить меня сейчас, когда наш великий роман дописан до половины!

– Не волнуйтесь, – ответил Камиль. – Вероятно, к моему возвращению нам больше не придется зарабатывать на жизнь порнографией. У нас появятся иные источники дохода.

Фабр усмехнулся:

– Для Камилля выборы – золотая жила. В последнее время вы мне нравитесь, такой хилый и свирепый, и витийствуете, словно герой романа. У вас, случаем, не чахотка? В начальной стадии? – Он приложил ладонь к его лбу. – Как думаете, до мая дотянете?

Теперь, просыпаясь по утрам, Камиллю хотелось натянуть одеяло на голову. Голова болела все время, и он с трудом понимал человеческую речь.

Революция и Люсиль с каждым днем казались все дальше. Он знал, что одно притягивает другое. Он неделями не слышал о Люсиль, они виделись мельком, при встречах она держалась холодно. Люсиль оправдывалась: «Моя сдержанность вынужденная, – и при этом она жалко улыбалась, – я не желаю, чтобы вы видели мою боль».

В тихие минуты Камиль рассуждал о мирных реформах, проповедовал республиканские принципы, всегда оговариваясь, что ничего не имеет против Людовика и считает его приличным человеком. Так говорили все вокруг, тем не менее д'Антон обычно замечал: «Знаю я вас, вам нравится насилие, это у вас в крови».

Камиль пришел к Клоду и заявил, что его будущее обеспечено. Если Пикардия не пошлет его депутатом в Генеральные штаты (на что он надеялся), то, скорее всего, изберут его отца.

– Я не знаком с вашим отцом, – ответил Клод, – но, если он человек разумный, то в Версале будет держаться от вас подальше, чтобы не попасть в неловкое положение.

Взгляд Клода, направленный в стену выше головы Камилля, опустился на его лицо; Камиль буквально ощутил это движение.

– Вы бездарный писака, – сказал ему Клод. – А моя дочь впечатлительна, склонна к идеализму и невинна, как голубка. Ей невдомек, что жизнь состоит из одних трудностей и невзгод. Она может думать, будто знает, чего хочет, однако это не так, а вот я знаю.

Камиль ушел от Клода. Им предстояло не видеться несколько месяцев. Он торчал на улице Конде, заглядывая в окна первого этажа в надежде увидеть Аннетту, но все было напрасно. Обходил издателей, словно с прошлой недели они могли изменить мнение и теперь готовы пуститься во все тяжкие. Типографии трудились денно и нощно, но владельцам приходилось соизмерять риски: подстрекательская литература пользовалась спросом, но никто не хотел, чтобы тираж конфисковали, а работников выставили на улицу.

– Все просто: если я это опубликую, меня посадят, – сказал ему издатель Моморо. – Не желаете смягчить тон?

– Не желаю, – ответил Камиль. – Я не иду на компромиссы, как говорит Бийо-Варенн.

Он тряхнул головой. Камиль перестал стричься, и теперь, даже когда он несильно тряс гривой, волосы ложились выразительными темными волнами. Ему нравился этот эффект. Неудивительно, что голова постоянно болела.

Издатель спросил:

– А как поживает ваш с мсье Фабром непристойный роман? Не лежит душа?

– Когда он уедет, – радостно заявил Фабр д'Антону, – я переработаю рукопись и сделаю героиню похожей на Люсиль Дюплесси.

Если в соответствии с обещанием короля Генеральные штаты будут созваны... можно не сомневаться, что это приведет к революции в

государственном управлении. Будет принята конституция, вероятно чем-то напоминающая английскую, а права короны будут ограничены.

*Дж. Ч. Вильерс, член парламента от Старого Сарума*

Габриэлю Рикетти графу де Мирабо сегодня исполнилось сорок: с днем рождения. В честь юбилея он разглядывал себя в большом зеркале. Размер и живость отражения затмевали пышную резную раму.

Семейное предание: в день его рождения акушер, завернув ребенка в пеленку, подошел к отцу и сказал: «Не пугайтесь...»

Он никогда не отличался красотой. В свои сорок выглядел граф на пятьдесят. Одна морщина – вечное безденежье, всего одна, деньги никогда его не заботили; по одной на каждый мучительный месяц в Венсенском замке. По морщине на каждого бастарда. Ты славно пожил, говорил себе граф, неужели ты думал, что жизнь не оставит отметин на лице?

Сорок – поворотный пункт, говорил себе граф. Не оглядывайся. Ад раннего детства: шумные кровавые ссоры, поджатые губы и убийственное молчание дни напролет. Однажды он встал между матерью и отцом, и мать разрядила пистолет ему в голову. Ему было всего четырнадцать, когда отец сказал про него: «Я увидел в нем натуру зверя». Затем армия, несколько дуэлей, буйный разврат и припадки слепой упрямой ярости. Жизнь в бегах. Тюрьма. Братец Бонифас, горький пьяница, ни дня не бывший трезвым, раскормленная туша, настоящий ярмарочный уродец. Не оглядывайся. Банкротство, подкравшееся почти неожиданно. Женитьба, крошка Эмилия, богатая наследница, крошечный узелок яда, которому он поклялся хранить верность. Интересно, где сейчас Эмилия, спрашивал он себя.

С днем рождения, Мирабо. Оцени свои активы. Мирабо выпрямился. Он был высок и крепок, с широкой грудью: объемные легкие. Испещренное оспинами лицо рождало оторопь; впрочем, нельзя сказать, что с таким лицом женщины любили его меньше. Он повернул голову, чтобы оценить орлиный профиль. Узкие неприятные губы, такие зовут жесткими. А в целом мужественное, породистое, энергичное лицо. Немного приукрасив правду, можно сказать, что он сделал свою семью одной из старейших и благороднейших во Франции. А кому важна правда? Педантам, знатокам родословных. Люди оценивают тебя по твоим заслугам, говорил он себе. Но сейчас дворяне, второе сословие королевства, отреклись от него. Ему не нашли места, у него отняли голос. *Впрочем, им это только казалось.*

Его положение усложнялось тем, что не далее как прошлым летом вышла скандальная книга «Тайная история берлинского двора», обнажавшая постыдные постельные обыкновения пруссаков и сексуальные пристрастия знати. Как бы рьяно ни отрицал он свое авторство, все понимали, что книга основана на его наблюдениях времен дипломатической службы. (Дипломат, он? Вы шутите?) Вообще-то, это не его вина: разве он не отдал рукопись своему секретарю, строго велел никому не показывать, а особенно не читать самому? Откуда ему было знать, что его тогдашняя любовница, жена издателя, будет рыться в секретарском столе? Впрочем, такое оправдание правительство вряд ли устроит. К тому же в августе он особенно нуждался в деньгах.

Правительству следовало проявить большую гибкость. Если бы в прошлом году ему нашли применение вместо того, чтобы им пренебрегать, – что-то, достойное его талантов, скажем, отправили послом в Константинополь или Петербург, – он сжег бы «Тайную историю» или утопил бы ее в пруду. Если бы тогда прислушались к его совету, у него не возникло бы желания их проучить.

Итак, аристократия его отвергла. Прекрасно. Три дня назад он въехал в Экс-ан-Прованс как кандидат от третьего сословия в палату общин. Каков итог? Бурный энтузиазм. Его называли отцом отечества, он был популярен среди местных. Когда граф отправится в Париж, колокола Экс-ан-Прованса еще будут издавать победный звон, а в ночном южном небе сверкать фейерверки. *Живой огонь.* Он отправится в Марсель (для верности), где его будет ждать не

менее шумный и пышный прием. А чтобы закрепить успех, напечатает в городе анонимный памфлет, расписывающий его достоинства.

Что делать с этими червяками в Версале? Переманить? Очернить? Могут ли они арестовать его во время всеобщих выборов? Памфлет аббата Сийеса, написанный в тысяча семьсот восемьдесят девятом году:

Что такое третье сословие?

Все.

Чем оно было до сих пор?

Ничем.

Чего оно хочет?

Стать чем-то.

Первая избирательная ассамблея третьего сословия Гиза округа Лан: пятое мая 1789 года. Председательствует мэтр Жан-Николя Демулен, генерал-лейтенант бальяжа Вермандуа, ему помогает прокурор мсье Сольс, протокол ведет секретарь мсье Марьяж: присутствуют две-сти девяноста два человека.

В честь события сын мсье Демулена затянул волосы широкой зеленой лентой. С утра он повязал черную, но вовремя одумался, вспомнив, что черный – цвет Габсбургов и Антуанетты, это не та приверженность, какую он хочет продемонстрировать. Зеленый – цвет свободы, цвет надежды. Отец в новой шляпе ждал его у парадной двери, негодуя на задержку.

– Никогда не понимал, почему надежда почитается добродетелью, – сказал Камиль. – В ней столько своекорыстия.

День выдался сырой и ветренный. На улице Гран-Пон Камиль остановился и коснулся отцовской руки.

– Пойдем со мной в Лан, на окружную ассамблею. Поддержи меня. Прошу.

– Ты считаешь, я должен отказаться в твою пользу? – спросил Жан-Николя. – Ты не унаследовал ни одного из свойств моего характера, за которые будут голосовать избиратели. Уверен, в Лане найдутся те, кто тебя поддержит, кто скажет, что ты способен повести людей за собой и прочую чушь. Я скажу так: пусть поговорят с тобой. Побеседуют хотя бы пять минут. Пусть на тебя посмотрят. Нет, Камиль, ни за что на свете я не стану всучивать тебя избирателям.

Камиль открыл рот, но ответить не успел.

Отец спросил:

– Ты полагаешь, разумно стоять и спорить посреди улицы?

– Почему нет?

Жан-Николя взял сына под руку. Не слишком красиво силком тащить его на собрание, но придется. Промозглый ветер задувал под одежду, у Жана-Николя болело все тело.

– Пошли, – рявкнул он, – пока нас не хватились.

– Ну наконец-то, – сказал кузен де Вьефвиль.

Отец Роз-Флер с кислым видом оглядел Камилля:

– Я предпочел бы вас не видеть, но вы состоите в местной коллегии, и ваш отец полагает, что нехорошо лишать вас избирательного права. В конце концов, это, вероятно, ваша единственная возможность поучаствовать в делах государства. Я слышал, вы пишете. Памфлетист. Я не назвал бы подобный способ убеждения пристойным.

Камиль одарил мсье Годара нежнейшей из своих улыбок.

– Мсье Перрен шлет вам наилучшие пожелания, – сказал он.

После собрания Жану-Николя оставалось только съездить в Лан для получения формального одобрения. Мэр Гиза Адриан де Вьефвиль возвращался домой вместе с ним. Жан-Николя

был изумлен легкостью, с которой победил, пора было собираться в Версаль. Посреди Плас-д'Арм он остановился и посмотрел на дом.

– Куда вы смотрите? – спросил его родственник.

– На водосточный желоб, – объяснил Жан-Николя.

Наутро все пошло прахом. Мэтр Демулен не спустился к завтраку. Мадлен предвкушала веселое звяканье кофейных чашек, всеобщие поздравления и даже смех. Но те из детей, что жили в доме, подхватили простуду и предпочли остаться у себя в комнатах, и ей оставалось довольствоваться обществом единственного сына, которого она почти не знала и который никогда не завтракал.

– Думаешь, он дуется? – спросила Мадлен. – Непохоже, особенно сегодня. Вот что значит спать в разных спальнях, словно особы королевской крови. Никогда не знаешь, что на уме у мерзавца.

– Я могу взглянуть, – предложил Камиль.

– Не стоит, выпей лучше еще кофе. Надеюсь, он пришлет мне записку.

Мадлен разглядывала старшего сына. Она положила в рот кусок бриоши, и, к ее удивлению, он застрял в горле, словно комок пыли.

– Что с нами стало? – спросила она, и слезы брызнули из глаз. – Что стало с тобой? – Она положила голову на стол и зарыдала.

Оказалось, что Жан-Николя занемог. У меня все болит, говорил он. Доктор велел ему улечься в постель.

– Это сердце? – спросил Демулен слабым голосом. Это все из-за Камиля, чуть не проговорился он.

Доктор ответил:

– Я много раз показывал вам, где находится сердце, где почки и в каком они состоянии. И хотя сердце ваше бьется ровно, отправляться в Версаль с такими почками неразумно. Через два года вам исполнится шестьдесят, но только в том случае, если вы будете вести спокойную, размеренную жизнь. Кроме того...

– Что-то еще?

– События в Версале куда раньше доведут вас до сердечного припадка, чем ваш сын.

Жан-Николя откинулся на подушки. Его лицо посерело от боли и разочарования. В гостиной собирались де Вьефвили, Годары и выборные чиновники. Камиль вошел вслед за доктором.

– Объясните ему, что он должен ехать в Версаль, – сказал он. – Даже если это его убьет.

– Вы с детства отличались бессердечием, – заметил мсье Сольс.

Камиль обратился к клике де Вьефвилей:

– Отправьте меня.

Жан-Луи де Вьефвиль дез Эссар, адвокат, член парламента, смерил его взглядом через пенсне.

– Камиль, – промолвил он, – я не отправил бы тебя на рынок за пучком салата.

Артуа. Три сословия заседали по отдельности, собрания духовенства и дворянства выразили готовность в трудную годину пожертвовать некоторыми древними привилегиями. Третье сословие собиралось бурно выразить признательность.

Молодой человек из Арраса начал выступление. Он был невысок и изящно сложен, в подозрительно хорошем сюртуке и белоснежной сорочке. Лицо умное и честное, узкий подбородок, большие голубые глаза за стеклами очков. У него был невыразительный голос, который несколько раз на протяжении речи изменял оратору. Слушатели тянули шею и пихали соседей, переспрашивая, что он сказал. Однако в ужас депутатов повергла не манера изложения – молодой человек заявлял, что дворяне и духовенство не совершили ничего, заслуживающего

одобрения, а всего лишь обещали вернуть то, чем ранее злоупотребляли. А стало быть, и благодарить их не за что.

Депутаты не из Арраса, не знавшие оратора, удивились, когда молодой человек стал одним из восьми депутатов от третьего сословия Артуа. Он выглядел погруженным в себя и каким-то несговорчивым, не обладал ни ораторскими талантами, ни стилем, ничем.

– Я заметила, ты расплатился с портным, – сказала его сестра Шарлотта. – И перчаточником. И поблагодарил его. Ты мог бы не разгуливать по городу с таким видом, словно уезжаешь навсегда?

– Ты предпочитаешь, чтобы однажды ночью я вылез из окна, увязав все пожитки в грязный носовой платок? Ты могла бы сказать, я сбежал из дома, чтобы стать матросом.

Однако Шарлотту было нелегко смягчить: Шарлотту, острый семейный клинок.

– Они захотят, чтобы до отъезда ты уладил дела.

– Ты имеешь в виду Анаис? – Он поднял глаза от письма, которое писал школьному другу. – Она сказала, что готова подождать.

– Она не будет ждать. Я знаю таких девушек. Советую забыть про нее.

– Я всегда рад твоим советам.

Шарлотта вскинула подбородок и грозно взглянула на брата, подозревая в его словах сарказм. Однако на лице Максимилиана было написано только братское участие. Он вернулся к письму:

*Дражайший Камиль!*

*Льщу себя надеждой, что ты не удивишься, узнав, что я отправляюсь в Версаль. Не могу выразить, сколь многого я жду от будущего...*

Максимилиан Робеспьер, 1789 год, из выступления по делу Дюпона:

Наградой добродетельного человека служит вера в то, что он желал добра своему ближнему; затем следует признание народов, хранящих его память, и почет, который оказывают ему современники... Я готов заплатить за эту награду жизнью, исполненной трудов, и даже преждевременной смертью.

Париж. Первого апреля д'Антон проголосовал в францисканской церкви, которую парижане именовали церковью Кордельеров. С ним был мясник Лежандр, грубоватый крепыш, самоучка, который имел обыкновение во всем соглашаться с д'Антоном.

– Такой человек, как вы... – льстиво начал Фрерон.

– Такой человек, как я, не может позволить себе баллотироваться, – сказал д'Антон. – Депутатам положили... сколько... восемнадцать франков за сессию? И мне пришлось бы жить в Версале. Я должен содержать семью и не могу оставить практику.

– Однако вы огорчены, – предположил Фрерон.

– Может быть.

Они не спешили расходиться, а остались стоять перед церковью, обмениваясь сплетнями и прогнозами. Фабр не голосовал – он платил слишком мало налогов, – и это его злило.

– Почему бы не завести в Париже такой же порядок, как в провинциях? – вопрошал он. – А вот почему: Париж считают опасным городом и боятся того, что случится, если мы проголосуем.

Он вел крамольный разговор со свирепым маркизом Сент-Юрюжем. Луиза Робер закрыла лавку и вышла под ручку с Франсуа, нарумянившись и нарядившись в платье, оставшееся с лучших времен.

– Только представьте, что женщины получают право голоса, – сказала Луиза и посмотрела на д'Антон. – Мэтр д'Антон верит, что женщины способны повлиять на политическую жизнь, не правда ли?

– Нет, не верю, – мягко ответил он.

– Весь округ вышел, – довольно заметил Лежандр. В молодости он был моряком, и ему нравилось чувство принадлежности к определенному месту.

Полдень, неожиданный визит: Эро де Сешель.

– Решил заглянуть, узнать, как голосуют необузданные кордельеры, – сказал он.

Однако д'Антону показалось, что Эро пришел ради него. Эро взял понюшку табака из табакерки с Вольтером на крышке. С видом ценителя покрутил табак между пальцами, протянул табакерку Лежандру.

– Это наш мясник, – промолвил д'Антон, наслаждаясь произведенным эффектом.

– Прелестно, – сказал Эро, сохраняя дружелюбное выражение, однако д'Антон заметил, как он тайком разглядывал собственные манжеты, словно хотел убедиться, что на них не налипла бычья кровь или ливер. Он обернулся к д'Антону: – Вы сегодня были в Пале-Рояле?

– Нет, но слышал, там беспокойно...

– И правильно, держись подальше от неприятностей, – пробормотала Луиза Робер.

– Выходит, Камиля вы не видели?

– Он в Гизе.

– Нет, он вернулся. Я встретил его в компании вшивого с головы до ног Жан-Поля Марата. Как, вы не знаете доктора Марата? Впрочем, невелика потеря – этот человек преступал закон в половине европейских стран.

– Это не повод его обвинять, – сказал д'Антон.

– Но он великий обманщик. Состоял лекарем дворцового караула графов д'Артуа, а еще ходили слухи, что он был любовником маркизы.

– Вы же в это не верите.

– Послушайте, я не виноват, что родился тем, кем родился, – раздраженно сказал Эро. – Я пытаюсь это искупить – вы же не думаете, что мне следует открыть лавку, как мадемуазель Кералио? Или вымыть полы в лавке вашего мясника? – Он замолчал. – Мне не следовало выходить из себя, должно быть, виноват воинственный дух этой местности. Будьте бдительны, не то Марат захочет здесь поселиться.

– Но почему вы назвали господина Марата вшивым? Это такая фигура речи?

– Я говорил буквально. Он оставил свой круг, предпочтя жить словно какой-то бродяга. – Эро содрогнулся, воображение живо нарисовало ему ужасную картину.

– И чем он занимается?

– Кажется, он посвятил себя ниспровержению всех и вся.

– О, ниспровержение всех и вся. Прибыльное дело. Дело, которое захочешь передать сыну.

– Я говорю чистую правду; впрочем, я отклонился от темы. Я пришел поговорить о Камиле, и это не терпит отлагательства.

– А, Камиль, – сказал Лежандр и добавил фразу, которую редко употреблял со времен матросской юности.

– Как бы то ни было, нельзя, чтобы его забрали в полицию. В Пале-Рояле хватает любителей влезть на стул и произнести зажигательную речь. Не знаю, там ли он сейчас, но вчера был там и позавчера...

– Камиль *говорит речи*?

Это казалось невероятным и все же возможным. Перед мысленным взором д'Антон возникла картина. Несколько недель назад. Фабр был пьян. Все они были пьяны. Фабр говорил, скоро мы станем публичными людьми. Д'Антон, помните, что я сказал о вашем голосе при нашем знакомстве, вы тогда были мальчишкой? Вы способны говорить часами без передышки, голос должен идти отсюда – и у вас получилось, но вы можете лучше. Ваш голос хорош в суде, но пора двигаться дальше.

Фабр встал и приложил пальцы к вискам д'Антоня:

– Приставьте пальцы сюда. Почувствуйте резонанс. А теперь сюда и сюда. – Он принялся тыкать пальцами ему в лицо: ниже скул, сбоку от челюсти. – Я выучу вас, как учат актеров. Этот город станет нашей сценой.

Камиль сказал:

– Книга пророка Иезекииля: «Этот город – котел, а мы – мясо...»

Фабр обернулся:

– Ваше заикание. Вам незачем заикаться.

Камиль закрыл руками лицо.

– Оставьте меня, – сказал он.

– И даже вас, даже вас я сумею научить.

Он наклонился над Камилем и рывком придал ему ровное положение в кресле, затем взял его за плечи и хорошенько встряхнул.

– Вы будете говорить, – сказал Фабр, – даже если это убьет одного из нас.

Защищаясь, Камиль прикрыл голову руками. Фабр продолжал трясти его, а д'Антон слишком устал, чтобы вмешаться.

Сегодня, ясным апрельским утром, он сомневался, не привиделась ли ему эта сцена? И все же пошел к Пале-Роялю.

Пале-Рояль был забит толпами гуляющих. Казалось, здесь теплее, чем в других частях города, словно в сады уже пришло жаркое лето. Все лавки были открыты, торговля шла бойко, люди спорили, смеялись, прогуливались по галереям. Биржевые маклеры, распустив галстуки, попивали лимонад, а завсегдатаи кафе высыпали на свежий воздух, обмахиваясь шляпами. Девушки гуляли, демонстрируя летние платья и косясь на проституток, которые, почуввав прибыль, вышли на промысел посреди дня. Бродячие собаки скалили зубы, орали разносчики газет. Вокруг царил атмосфера праздника: опасного, рискованного праздника.

Камиль стоял на стуле, и легкий ветерок развеивал его локоны. Он держал в руке листок, похожий на полицейское досье, и читал. Дочитав, вытянул руку, разжал пальцы и пустил листок по ветру. Толпа разразилась хохотом. Двое мужчин, обменявшись взглядами, затерялись в толпе.

– Полицейские осведомители, – сказал Фрерон.

Камиль заговорил о королеве с ледяным презрением, а толпа застонала и зашипела. Он говорил, что короля следует избавить от дурных советчиков, хвалил мсье Неккера, а толпа хлопала. Говорил о добром герцоге Филиппе и о том, как тот заботится о народе, а люди кричали и подкидывали в воздух шляпы.

– Его арестуют, – сказал Эро.

– На глазах у толпы? – удивился Фабр.

– Они схватят его потом.

Д'Антон стоял мрачней тучи. Толпа все прибывала. Голос Камиля разносился над толпой без малейших затруднений. Намеренно или случайно он говорил с явным парижским акцентом. Люди подходили из садов. Из окна верхнего этажа ювелирной лавки герцогский секретарь Лакло хладнокровно разглядывал толпу, пил воду из стакана и делал заметки. Становилось все жарче, и только Лакло был холоден. Камиль ладонью стер пот со лба. И обрушился на спекулянтов зерном. «Лучший на неделе», – записал Лакло.

– Я рад, что вы нас предупредили, Эро, – сказал д'Антон. – Хотя я не вижу ни малейшего способа его остановить.

– Это все моя заслуга, – сказал Фабр, сияя от удовольствия. – Я говорил вам, с Камилем надо построже. Его не мешает иногда поколачивать.

В тот вечер, когда Камиль вышел из квартиры Фрерона, к нему подошли два господина и вежливо попросили проследовать за ними в дом герцога де Бирона. Их ждала карета. В дороге никто не проронил ни слова.

Камиля это устраивало. У него болело горло, заикание вернулось. Иногда оно пропадало в суде, когда он был захвачен процессом. Когда он разозлится, когда выйдет из себя, он снова обуздает свой дефект, но заикание непременно вернется. Как и сейчас, а значит, ему снова придется обратиться к старой тактике: он не мог договорить предложение до конца, если в уме не забежал вперед на четыре-пять фраз, не пытался увидеть слова, которых не мог произнести. Еще можно придумывать синонимы – порой причудливые – или на ходу менять то, что задумал сказать... Он вспомнил Фабра, который довольно болезненно стучал его головой о подлокотник кресла.

Герцог де Бирон появился всего на мгновение, кивком поприветствовал Камиля, шмыгнул в галерею и исчез в глубине дома. Воздух был спертый, от канделябров исходил рассеянный свет. Шпалеры на стенах поглощали звуки, смутные фигуры богинь, лошадей и охотников: шерстяные руки, шерстяные копыта, шерсть источала вонь камфоры и сырости. Гобелен изображал азарт преследования, он видел гончих и спаниелей, слюна капала из пасти, тестяные лица охотников в старинных платьях; оленя-самца загнали в ручей. Внезапно Камиль замер, на миг поддавшись страху. Один из сопровождающих взял его за руку и мягко подтолкнул в нужном направлении.

Лакло ждал его в комнатке с зелеными шелковыми обоями.

– Садитесь, – сказал он. – Расскажите о себе. О чем вы думали, когда выступали сегодня? – Сдержанный по природе, Лакло не понимал, как можно так себя взвинчивать.

Вошел друг герцога де Силлери и предложил Камилю шампанского. Сегодня вечером не играли, и ему было скучно: почему бы не поболтать с этим странным маленьким оратором.

– Полагаю, вы нуждаетесь в деньгах, – сказал Лакло. – Мы избавим вас от этой заботы.

Покончив с делами, он подал незаметный сигнал, снова возникли двое молчаливых господ, и все повторилось: холод мрамора под подошвами, бормотание за прикрытыми дверями, внезапные взрывы смеха и обрывки музыкальных фраз из невидимых комнат. Шпалеры окаймляли бордюр из лилий, роз и синих груш. Воздух снаружи был не холоднее, чем внутри. Лакей поднял фонарь. Карета стояла у двери.

Камиль откинулся на подушки. Один из сопровождающих задвинул бархатные занавески, чтобы их не увидели с улицы. Лакло отказался от ужина и вернулся к своим записям. Герцогу пригодятся такие неуравновешенные сопляки, сказал он, любители покрасоваться перед толпой.

Вечером двадцать второго апреля, в среду, годовалый сын Габриэль отказался есть, оттолкнул ложку, захныкал и улегся в колыбели. Она забрала его к себе в постель, и ребенок уснул, но на рассвете она почувствовала, как пылает его лоб, прижатый к ее щеке.

Катрин побежала за доктором Субербьедем.

– Кашляет? – спросил доктор. – Не кушает? Только и всего? Не стоит волноваться. Время года нездоровое. – Он похлопал ее по руке. – Постарайтесь сами отдохнуть, милая.

Однако к вечеру лучше не стало. Габриэль проспала час-другой, затем сменила Катрин у колыбели. Она втиснулась в кресло и стала прислушиваться к дыханию сына, каждые несколько минут легонько прикасаясь к ребенку: трогая пальцем щечку, чуть похлопывая по воспаленной груди.

К четырем малышу полегчало. Температура спала, кулачки разжались, веки смежились, и он задремал. Габриэль откинулась на спинку кресла, руки и ноги от усталости тряслись, словно желе.

Следующее, что она услышала, был бой часов: пять утра. Она подскочила, чуть не упав с кресла. Встала, похолодевшая и бледная, оперлась рукой о колыбель. Склонилась над ней. Ребенок спокойно лежал на спине. Даже не дотрагиваясь до него, Габриэль поняла, что он мертв.

На перекрестке улиц Монтрей и Фобур-Сент-Антуан стоял огромный дом, который местные именовали Титонвилем. Второй этаж занимали апартаменты (по слухам, роскошные), принадлежавшие мсье Ревейону. В сумраке погребов хранились редкие вина. На первом этаже располагался источник богатства мсье Ревейона – обойная фабрика, где трудились три с половиной сотни работников.

Мсье Ревейон приобрел дом после того, как его первый владелец обанкротился. Он создал процветающую экспортную торговлю. А так как он был человеком богатым и одним из самых крупных парижских нанимателей, то, естественно, поддерживал Генеральные штаты. Двадцать четвертого апреля, питая вполне обоснованные надежды, он отправился на избирательную ассамблею округа Сен-Маргерит, где соседи почтительно выслушали его речь. Отличный малый, Ревейон свое дело знает.

Мсье Ревейон отметил, что цена на хлеб непомерно высока. Раздался одобрителный ропот и жидкие аплодисменты: мысль была не нова. Если цена на хлеб опустится, сказал мсье Ревейон, наниматели могут снизить плату работникам, что, в свою очередь, приведет к снижению цен на товары. Иначе чего нам ждать? Цены растут, растет плата, цены растут, растет плата...

Мсье Анрио, владевший производством селитры, пылко его поддержал. Те, кто толпился у двери, передали тем, кто не имел избирательного права и стоял снаружи в сточной канаве, обрывки его речей.

Общественное внимание привлек только один тезис мсье Ревейона – его предложение понизить плату работникам. Сент-Антуанское предместье вышло на улицы.

Начальник городской полиции де Крон давно предупреждал, что в округе возможны волнения. Округ кишел пришлыми и безработными, добавьте скученность, болтливость, вспыльчивость. Новость медленно расползлась по городу, но предместье Сен-Марсель скоро услышало призыв, и колонна демонстрантов двинулась к реке. Барабанщик отбивал ритм, люди призывали смерть: «Смерть богатеям, смерть аристократам, смерть спекулянтам, смерть попам!»

Они несли виселицу, сколоченную за пять минут ретивым подмастерьем плотника – на виселице болтались две безглазые соломенные куклы, наряженные в обноски. На груди у них красовались имена: Ревейон и Анрио. Заслышав приближение колонны, лавочники запирали ставни. Соломенных кукол торжественно повесили на Гревской площади.

Такое в Париже случалось сплошь и рядом. Демонстранты никого пальцем не тронули, даже кошку. Шутливые казни были ритуалом, призванным разжечь гнев толпы. Полковник французской гвардии послал пятьдесят гвардейцев в район Титонвиля на случай, если беспорядки не утихнут. Однако он упустил из виду дом Анрио, и демонстранты не нашли ничего лучшего, как подняться по улице Кот, вломиться в дом и поджечь его. Мсье Анрио выбрался из пожара целым и невредимым. Никого не убили. Мсье Ревейона избрали депутатом.

Однако к понедельнику положение ухудшилось. Свежие толпы собрались на улице Сент-Антуан, поддержанные предместьем Сен-Марсель. На набережной к демонстрантам присоединились портовые грузчики, кольщики дров, нищие, жившие под мостами. Рабочие королевской стекольной фабрики побросали орудия труда и высыпали на улицы. Прибыли еще две сотни гвардейцев, они залегли напротив Титонвиля, заслонившись конфискованными повозками. И тогда их офицеры впервые запаниковали. Никто не знал, сколько демонстрантов с той

стороны баррикады: пятьсот или пять тысяч. За последние месяцы это была не первая вылазка недовольных, но сегодня все было иначе.

Случилось так, что в тот же день в Венсене проходили скачки. Когда модные экипажи въехали в Сент-Антуанское предместье, взволнованных дам и господ, одетых в английском стиле, выволокли на покрытую нечистотами мостовую. Их заставили прокричать: «Долой перекупщиков!», затем грубо впихнули обратно. Многим господам пришлось расстаться с некоторыми суммами, чтобы подтвердить свои добрые намерения, а дамам в знак солидарности подарить поцелуи вшивым подмастерьям и вонючим извозчикам. Когда показалась карета герцога Орлеанского, раздались приветственные крики. Герцог вышел, произнес несколько умиротворяющих слов и раздал толпе мелочь. Каретам, которые ехали следом, пришлось остановиться.

– Герцог проводит смотр своих войск, – раздался высокомерный аристократический голос.

Зарядив ружья, гвардейцы ждали. Толпа разбрелась, люди подходили к повозкам, чтобы перекинуться парой слов с солдатами, но не выказывая решимости идти на штурм. В Венсене англофилы подгоняли своих фаворитов. Приближался вечер.

Были предприняты попытки направить возвращавшихся со скачек в объезд, но, когда появилась карета герцогини Орлеанской, ситуация осложнилась. Ей нужно туда, сказал герцогский кучер: за баррикады. Немногословная герцогиня приказаний не повторяла. Проблема была разъяснена. Этикет столкнулся с целесообразностью. Победил этикет. Гвардейцы и те, кто стоял поблизости, принялись растаскивать повозки. Настрой вмиг изменился, дневная дрема рассеялась, раздались выкрики, блеснула сталь. Толпа хлынула вслед за каретой герцогини. Спустя несколько минут в Титонвиле не осталось ничего, что можно было поджечь, сломать или украсть.

Когда прибыла кавалерия, толпы грабили лавки на улице Монтрей и стягивали кавалеристов с лошадей. Появились пехотинцы, лица напряглись; отрывистые приказы, неожиданный выстрел. Палили холостыми, но не успели солдаты перевести дух, как пехотинца задело куском черепицы, свалившимся откуда-то сверху. Он поднял лицо, и мятежник, выбравший его своей мишенью, сбросил другой кусок, выбив пехотинцу глаз.

Не прошло и минуты, а толпа уже вышибала двери и взламывала замки, вылезала на крыши и отдираала черепицу. Гвардейцы, закрывая голову руками, искали укрытия, кровь стекала между пальцами на товарищей, которых уже сбило с ног. Солдаты открыли огонь. На часах была половина седьмого.

К восьми прибыли свежие силы. Мятежников отбросили назад. Ходячих раненых оттащили с поля боя. На улицах появились женщины. Обвязав голову шалью, они таскали ведра с водой, чтобы промыть раны и напоить тех, кто потерял много крови. Витрины зияли пустотой, двери были сорваны с петель, дома обобраны до кирпичных стен. Под ногами скрипела черепица и битое стекло, к подошвам липла кровь, догорало обугленное дерево. Погребя Титонвиля обчистили, мужчины и женщины, которые дырявили бочонки и отбивали горлышки бутылок, валялись пьяные, захлебываясь в собственной рвоте. Из мести французские гвардейцы избивали дубинками бесчувственные тела. По мостовой текли струйки кларета. В девять часов прибыла кавалерия. Швейцарская гвардия притащила восемь пушек. День закончился. С улиц убрали триста трупов.

До самого дня похорон Габриэль не выходила из дома. Запершись в спальне, она молилась за маленькую душу, уже отягощенную грехом, ибо за год, проведенный в теле, душа показала свой невоздержанный, жадный до молока нрав. Позже она сходит в церковь поставить свечу святым невинным вифлеемским младенцам. По ее щекам катились тяжелые крупные слезы.

Луиза Жели спустилась с верхнего этажа. Она сделала то, до чего не додумались служанки: сложила детскую одежду, одеяла, мячик, тряпичную куклу в охапку и унесла к себе. Ее личико было сосредоточено, словно ей было не впервой помогать убитым горем матерям, и она не позволяла себе расплакаться. Луиза села рядом с Габриэль и сжала в худенькой детской ладошке ее пухлую женственную руку.

– Так в жизни заведено, – сказал мэтр д’Антон. – Только ты приводишь ее в порядок, как этот проклятый Бог...

Женщина и девочка с ужасом посмотрели на него.

– Я больше не нахожу утешения в религии, – сказал он.

После похорон родители Габриэль зашли поддержать дочь.

– Подумай о будущем, – внушала ей Анжелика. – Вот согласишься, со временем родишь еще десятерых.

Ее зять с несчастным видом смотрел в пустоту. Мсье Шарпантье ходил по комнате и вздыхал, ощущая свою бесполезность. Затем подошел к окну и выглянул на улицу. Габриэль уговаривали поесть.

К вечеру настроение в гостиной поднялось: жизнь продолжалась.

– Беда без новостей, – сказал мсье Шарпантье. Он пытался намекнуть зятю, что женщин давно пора оставить одних.

Жорж-Жак неохотно встал. Они надели шляпы и по людным улицам направились в сторону Пале-Рояля и кафе «Фуа». Мсье Шарпантье пытался вовлечь зятя в разговор, но безуспешно. Тот смотрел прямо перед собой, его не заботило кровопролитие в городе, он был поглощен своей бедой.

Пробивая себе путь в кафе через толпу, Шарпантье заметил:

– Я никого здесь не знаю.

Д’Антон огляделся, удивившись, сколь многих здесь он знает.

– Тут проводит собрания Патриотическое общество Пале-Рояля.

– Кто они такие?

– Обычные прожигатели жизни.

К ним направлялся Бийо-Варенн. Прошло несколько недель с тех пор, как д’Антон в последний раз поделился с ним работой. Желтушное лицо адвоката раздражало его, к тому же, как убеждал д’Антон другой его секретарь Паре, нельзя кормить всех ленивых мятежников в округе.

– Что вы об этом думаете? – Глаза Бийо, обычно напоминавшие мелкие кислые плоды, кажется, дозрели до нужной кондиции. – Я гляжу, Демулен наконец-то определился. Он с людьми герцога Орлеанского. Они купили его. – Бийо обернулся через плечо. – Помяни черта...

Подошел Камиль, настороженно оглядываясь по сторонам.

– Жорж-Жак, где вы были? – спросил он. – Я не видел вас целую неделю. Что вы думаете о Ревейоне?

– Я скажу вам, что я думаю, – вступил в разговор Шарпантье. – Все это ложь и искажение фактов. Ревейон – лучший наниматель в городе. Прошлой зимой он оплачивал своим рабочим простои.

– Так вы считаете его филантропом? – спросил Камиль. – Простите, мне нужно поговорить с Бриссо.

До сих пор д’Антон не видел Бриссо или видел, но не замечал, что неудивительно. Бриссо повернулся к Камиллю, кивнул и снова обратился к собеседникам: «Нет, нет, нет, только по закону». Затем протянул Камиллю руку.

Он был тощий, чахлый, тихий как мышь, кривые узкие плечи делали его похожим на горбуна. Из-за бедности и слабого здоровья Бриссо выглядел старше своих тридцати пяти, хотя сегодня бледное лицо и тусклые глаза сияли надеждой, как у школьника в первый день учебы.

– Камиль, – сказал он, – я задумал издавать газету.

– Будьте осторожней, – посоветовал ему д'Антон. – Полиция не совсем махнула на все рукой. У вас могут возникнуть трудности с распространением.

Глаза Бриссо пробежали по фигуре д'Антоня, скользнули по его изуродованному лицу. Он не стал просить, чтобы его представили.

– Сначала я думал начать первого апреля и выпускать два номера в неделю, затем решил, подожду до двадцатого и выпущу четыре номера, теперь вижу, правильное будет дождаться следующей недели, когда созовут Генеральные штаты, – лучшее время для газетной сенсации. Я хочу собирать все новости от Версаля до Парижа, новости с улиц – полиция может схватить меня, но нужды нет, я уже был в Бастилии и готов отправиться туда снова. У меня не было ни минуты свободного времени, я помогал с выборами в округе Фий-Сен-Тома, там отчаянно нуждались в моем совете...

– Люди всегда нуждаются в вашем совете, – заметил Камиль. – Во всяком случае, вы всегда так говорите.

– Не ехидничайте, – мягко сказал Бриссо, мелкие морщинки в углах его глаз выдавали раздражение. – Я знаю, вы думаете, что с газетой ничего не выйдет, но придется постараться. Кто знал еще несколько месяцев назад, что мы достигнем такого успеха?

– Этот человек называет успехом три сотни трупов, – заметил Шарпантье.

– Я думаю... – Бриссо замолчал. – Я скажу вам наедине, о чем я думаю. Здесь могут быть полицейские осведомители.

– Это ты и есть, – произнес голос за его спиной.

Бриссо поморщился, но оборачиваться не стал. Он посмотрел на Камилля, чтобы убедиться, что тот его слышит.

– Эти слухи пустил Марат, – сказал он тихо. – После того что я сделал для его карьеры и репутации, я получаю лишь гнусные намеки – люди, которых я числил товарищами, обходятся со мной хуже, чем полицейские.

Камиль сказал:

– Ваша беда в том, что вы постоянно сдаете назад. Я слышал, как вы утверждали, что Генеральные штаты спасут страну. В то время как два года назад вы говорили, что сперва мы должны избавиться от монархии. Что из этого правда? Нет, не отвечайте. Будет ли расследование недавних событий? Нет. Несколько человек повесят, только и всего. Почему? Потому что никто не осмеливается задать вопрос: что на самом деле происходит? Ни Людовик, ни Неккер, ни даже сам герцог. Однако всем известно, что главное преступление Ревейона состоит в том, что он осмелился перейти дорогу кандидату герцога Орлеанского.

Посетители кафе зашумели.

– Нетрудно было догадаться, – заметил Шарпантье.

– Но никто не мог предвидеть такого размаха, – прошептал Бриссо. – Все было продумано, людям заплатили, но не десяти же тысячам! Даже герцог не способен заплатить десяти тысячам. Люди вышли на улицы по зову сердца.

– И это нарушило ваши планы?

– Люди нуждаются в руководстве. – Бриссо потрянул головой. – Мы не хотим анархии. Я внутренне содрогаюсь, оказываясь в обществе тех, на кого нам приходится возлагать надежды... – Он махнул в сторону д'Антоня, который удалился вместе с мсье Шарпантье. – Посмотрите на него. Судя по одежке, респектабельный господин. Но куда уместнее он смотрелся бы с пикой наперевес.

Камиль расширил глаза:

– Но это же мэтр д'Антон, королевский советник! Не следует делать поспешных выводов. Мэтр д'Антон, если бы захотел, уже состоял бы на государственной службе, но он знает, какое будущее ему уготовано. Откуда этот страх, Бриссо? Вы боитесь человека из народа?

– Я един с моим народом, – благоговейно промолвил Бриссо. – С его чистой и возвышенной душой.

– Это неправда. Вы смотрите на народ свысока, потому что народ воняет и не умеет читать по-гречески. – Камиль прошел через комнату к д'Антону. – Он принял вас за голову-реза, – заявил он ему с довольным видом. – Этот Бриссо, – поделился Камиль с Шарпантье, – женат на некоей мадемуазель Дюпон, которая делала для Фелисите де Жанлис какую-то черную работу. Поэтому он связан с герцогом Орлеанским. Я его уважаю. Он провел долгие годы в эмиграции, писал, выступал. Он заслуживает революции. Сын простого кондитера, но образован и держится с достоинством, потому что много страдал.

Мсье Шарпантье был удивлен и рассержен.

– Вы, Камиль, вы взяли деньги у герцога, а теперь признаете, что Ревейона сделали жертвой...

– Ревейон никого не волнует. Если он этого не говорил, значит мог бы сказать. Не имеет значения, как было на самом деле. Важно только, что подумают улицы.

– Господь свидетель, – сказал Шарпантье, – я не сторонник старого порядка, но мне страшно подумать, что будет, если реформы доверят таким, как вы.

– Реформы? – удивился Камиль. – Я говорю не о реформах. Уже летом этот город взлетит на воздух.

Д'Антон мучило, скорбь захлестывала его. Хотелось отвести Камиля в сторонку, рассказать ему о ребенке. Это остудило бы его пыл. Но Камиль был так счастлив, замышляя грядущую резню. Кто я такой, подумал д'Антон, чтобы испортить ему эту неделю?

Версаль. Процессию тщательно готовили. Вы же понимаете, это не встать и пойти.

Нация исполнена надежд. Настает долгожданный день. Тысяча двести депутатов Генеральных штатов торжественной процессией шагают к церкви Людовика Святого, где монсеньор де Лафар, епископ Нанси, обратится к ним с проповедью и призовет Божье благословение на их труды.

Духовенство, первое сословие: веселые майские лучи сияют на митрах и драгоценных цветах облачений. За ним следуют дворяне: тот же свет вспыхивает на трех сотнях эфесов, скользит по облаченным в шелка спинам. Три сотни плюмажей колышутся на ветру.

Однако впереди идут простолюдины, третье сословие. По указанию церемониймейстера все одеты в черное; шестьсот человек, словно громадный черный слизень. Почему бы не обрядить их в рабочие рубахи и не приказать жевать соломинки на ходу? Но пока они шагают, унижение сменяется чем-то иным. Их траурная одежда – знак солидарности. Их призвали присутствовать при кончине старого порядка, а не гостями на бал-маскарад. На пудренных лицах над скромными галстуками написана гордость. Они здесь по делу, а посему долой пышность.

Максимилиан де Робеспьер шел рядом с депутатами от своей провинции, между двумя крестьянами. Поверни он голову, увидел бы выпяченные челюсти бретонцев. Депутатов стеной окружали солдаты. Он смотрел прямо перед собой, подавляя желание обвести глазами орущую толпу. Никто здесь его не знал, никто не выкрикивал ему приветствий.

Среди зрителей Камиль встретил аббата де Бурвиля.

– Вы меня не помните, – пожаловался аббат, проталкиваясь к нему в толпе. – Мы вместе учились в лицее.

– Тогда вы были синим от холода.

– Но я же узнал вас! Вы совершенно не изменились, словно вам все еще девятнадцать.

– Вы стали набожным, де Бурвиль?

– Не особенно. Вы видели Луи Сюло?

– Ни разу. Но подозреваю, скоро он себя проявит.

Они снова обратились к процессии. На миг Камиля охватила иррациональная уверенность, что все это устроил он, Демулен, что Генеральные штаты маршируют по его приказу, что весь Париж и Версаль вертятся вокруг его персоны.

– А вот и герцог Орлеанский, – потянул его за руку де Бурвиль. – Он настоял на том, чтобы идти с третьим сословием. Посмотрите, как хлопочет над ним главный церемониймейстер, аж в пот бросило. А вот и герцог де Бирон.

– Я его знаю. Бывал в его доме.

– А это Лафайет.

Американский герой в серебристом жилете бодро вышагивал в процессии, серьезное и немного рассеянное молодое лицо, необычный вытянутый череп под треугольной шляпой в стиле Генриха IV.

– Вы с ним знакомы?

– Только с его репутацией, – пробормотал Камиль. – Вашингтон *pot-au-feu*<sup>9</sup>.

Бурвиль рассмеялся:

– Вы должны это записать.

– Уже записал.

В церкви Людовика Святого де Робеспьеру досталось удобное место у прохода. Удобное место, чтобы разглядывать знать вблизи. Волнующееся море епископов на мгновение расступилось, и король, грузный, в золотой парче нечаянно взглянул ему прямо в лицо. А когда королева повернула голову (во второй раз мы с вами ближе, чем в первую встречу, мадам), перо цапли в ее волосах как будто приветливо качнулось в его сторону. Гости в украшенной драгоценными камнями дарохранительнице маленьким солнцем пылала в руках епископа. Король с королевой заняли места на помосте под бархатным пологом, вышитым золотыми геральдическими лилиями. Затем вступил хор:

*O salutaris hostia*

*Если продать драгоценности короны,  
что можно купить для Франции?*

*Quae coeli pandis ostium,*

*Король выглядит полусонным.*

*Bella premunt hostilia,*

*А королева – горячкой.*

*Da robur, fer auxilium.*

*Похожа на Габсбургов.*

*Uni trinoque domino,*

*Мадам Дефицит.*

*Sit sempiterna gloria,*

*Снаружи женщины криками*

*приветствовали герцога Орлеанского.*

*Qui vitam sine termino,*

*Я никого здесь не знаю.*

*Nobis donet in patria.*

*Где-то здесь должен быть Камиль. Где-то рядом.*

---

<sup>9</sup> Пот-о-фё (букв. «котелок на огне») – самое традиционное блюдо французской кухни: самые дешевые части говяжьей туши, которые варят с овощами и подают с бульоном.

Amen.

– Смотрите-смотрите, – сказал Камиль де Бурвилю. – Максимилиан.

– Да, это он. Наш дорогой Как-вас-там. Стоит ли удивляться?

– Мое место там. В процессии. Де Робеспьер уступает мне интеллектом.

– Что? – Изумленный аббат обернулся и зашелся смехом. – Людовик Шестнадцатый, милостью Божией король Франции, уступает вам интеллектом. Его святейшество папа римский уступает вам интеллектом. Кем еще вы хотели бы стать, кроме как депутатом?

Камиль не ответил.

– О Боже мой, Боже мой. – Аббат сделал вид, будто вытирает глаза.

– А это Мирабо, – сказал Камиль. – Он собирается издавать газету. Я буду для него писать.

– Как вы это провернули?

– Никак. Я приступаю завтра.

Де Бурвиль бросил на него косой взгляд. Камиль лжец, подумал он, всегда был лжецом. А впрочем, скажем мягче: он приукрашивает.

– Что ж, удачи, – сказал аббат. – Видели, как толпа принимала королеву? Весьма нелюбезно, не правда ли? Зато как приветствовали герцога Орлеанского! И Лафайета. И Мирабо.

И д'Антоня, чуть слышно шепнул Камиль, словно пробуя слова на вкус. У д'Антоня важное дело, он даже не пошел смотреть процессию. И Демулена, добавил Камиль. Демулена приветствовали громче всех. Он ощущал тупую боль разочарования.

Всю прошлую ночь шел дождь. В десять, когда началась процессия, по улицам бежали ручьи, но к полудню земля была суха и горяча.

Камиль договорился, что переночует в Версале у своего кузена. Он специально попросил депутата при чужих, чтобы тому неловко было отказать. Явился Камиль далеко за полночь.

– Где, ради всего святого, тебя носило? – спросил де Вьефвиль.

– Я был у герцога де Бирона и графа де Жанлиса, – пробормотал Камиль.

– Ясно. – Де Вьефвиль был раздосадован, не зная, верить ему или нет. К тому же в комнате присутствовал третий, мешая хорошенько отчитать Камилля.

Молодой человек покинул тихое место у камина.

– Я ухожу, мсье де Вьефвиль. Однако поразмыслите над моими словами.

Де Вьефвиль и не подумал их друг другу представить. Молодой человек сам обратился к Камиллю:

– Я Барнав, возможно, вы обо мне слышали.

– Все о вас слышали.

– Вероятно, вы считаете меня обычным смутьяном. Надеюсь, я докажу, что способен на большее. Спокойной ночи, господа.

Он тихо закрыл за собой дверь. Камиллю хотелось выскочить вслед за ним, задать вопрос, завязать знакомство, но на сегодня он утратил способность изумляться. Это был тот самый Барнав, который выступил против королевских эдиктов в провинции Дофине. Люди называли его Тигром, но сейчас, разглядев этого скромного, некрасивого, курносого адвоката, Камиль понимал, что в прозвище содержалась легкая насмешка.

– В чем дело? – спросил де Вьефвиль. – Ты разочарован? Представлял его себе иначе?

– Зачем он приходил?

– За поддержкой. Уделил мне жалких пятнадцать минут, да и то среди ночи.

– Вы оскорблены?

– Завтра увидишь, как они будут драться за привилегии. Все думают только о том, как бы что-нибудь ухватить, если хочешь знать мое мнение.

– Неужели ничто не способно поколебать ваши провинциальные взгляды? – спросил Камиль. – Вы хуже моего отца.

– Камиль, будь я твоим отцом, я бы давным-давно свернул твою тощую шею.

Часы во дворце и в городе согласно пробили час. Де Вьефвиль развернулся и ушел спать. Камиль вытащил черновик памфлета «Свободная Франция». Он прочитывал каждую страницу, рвал поперек и ронял обрывки в камин. Камиль не успевал за развитием событий. На следующей неделе, *deo volente*<sup>10</sup>, в следующем месяце он перепишет его снова. В пламени Камиль видел картину: он пишет, чернила скользят по бумаге, он откидывает волосы со лба. Когда под окнами стихло, он свернулся в кресле и уснул при свете догорающего камина. В пять утра рассвет просочился сквозь ставни, первая телега с кислым черным хлебом покатила на версальский рынок. Он проснулся, сел, оглядел незнакомую комнату, болезненные предчувствия пронизывали его, словно медленное холодное пламя.

Слуга, который был скорее телохранителем, чем лакеем, спросил:

– Это вы написали?

В руке он держал копию первого памфлета Камиля «Философия французской революции». Слуга помахал памфлетом, словно судебной повесткой.

Камиль отпрянул. В восемь утра передняя Мирабо кишела посетителями. Весь Версаль, весь Париж хотел получить аудиенцию. Камиль ощущал себя мелким и незначительным и был совершенно подавлен напористостью слуги.

– Я, – ответил он. – Мое имя стоит на обложке.

– Господи, вас же ищет граф. – Слуга взял его под локоть. – Идемте.

До сих пор все складывалось непросто, да Камиль и не надеялся, что дальше будет проще. Пурпурный шлафрок графа ниспадал античными складками, словно тот позировал сразу нескольким скульпторам. Он был небрит, серое с желтизной лицо, покрытое оспинами, слегка блестело от пота.

– Итак, я заполучил философа, – сказал граф. – Тейтш, кофе. – Он медленно обернулся. – Подойдите.

Камиль медлил, чувствуя, что ему не хватает сети и трезубца.

– Я сказал, подойдите, – рявкнул граф. – Я не опасен. – Он зевнул. – В это время суток.

Пристальный взгляд графа причинял почти физическую боль и был призван вызывать благоговейный страх.

– Я надеялся подкараулить вас где-нибудь в публичном месте, – сказал Мирабо, – и притащить сюда. К сожалению, мне приходится прозябать здесь, дожидаясь королевского зова.

– Король непременно за вами пришлет.

– Так вы мой сторонник?

– Я имел честь отстаивать ваши убеждения.

– Ах вот оно что, – с насмешкой промолвил граф. – Я нежно люблю льстецов, мэтр Демурлен.

Этого Камиль никак не мог понять: то, как смотрели на него люди герцога Орлеанского, то, как смотрел на него Мирабо. Словно имели на него какие-то виды. С тех пор как святые отцы махнули на Камиля рукой, никто не строил на его счет никаких планов.

– Вы должны простить мой внешний вид, – мягко сказал граф. – До утра мне не удалось сомкнуть глаз. Впрочем, должен признаться, меня занимала не только политика.

Вранье, сразу понял Камиль. Если бы граф захотел, он принимал бы своих почитателей чисто выбритым и трезвым. Это был просчитанный ход, как все, что он делал; небрежностью и беспечностью, а равно и легкостью, с которой за них извинялся, граф хотел смутить и унижить

---

<sup>10</sup> Бог даст (*лат.*).

одетых с иголки и скованных посетителей. Граф взглянул в лицо своему невозмутимому слуге Тейтшу и громко расхохотался, словно тот сказал что-то смешное. Отсмеявшись, снова обратился к Камиллю:

– Мне нравится, как вы пишете, мэтр Демулен. Проникновенно, с чувством.

– Когда-то я сочинял стихи. Теперь-то я знаю, что у меня нет таланта.

– Полагаю, сложностей вообще так много, что незачем сковывать себя еще и стихотворным размером.

– Я не собирался посвящать себя поэзии. Надеюсь заниматься делами государства.

– Оставьте это тем, кто старше вас. – Граф поднял памфлет. – Можете повторить?

– А, это... да, разумеется. – Он привык относиться к своему первому памфлету с презрением, которое до некоторой степени распространялось на тех, кто им восхищался. – Для меня это все равно что дышать. Я не сказал «говорить» по очевидной причине.

– Однако вы говорили, мэтр Демулен. В Пале-Рояле.

– Мне пришлось себя заставлять.

– Природа создала меня народным трибуном. – Граф повернул голову, демонстрируя выгодный ракурс. – Как давно вы заикаетесь?

Послушать его, так заикание – забавное или элегантное новшество.

Камиль сказал:

– Очень давно. С семи лет. С тех пор, как впервые оставил родной дом.

– Вас так расстроило расставание с семьей?

– Уже не помню. Вероятно. Или, напротив, не сумел справиться с облегчением.

– Разные бывают семьи. – Мирабо улыбнулся. – Я не понаслышке знаком со всеми домашними затруднениями, от вспыльчивости за завтраком до последствий инцеста. – Он поманил Камилля за собой в комнату. – Король – покойный король – говорил, что следует ввести должность министра, который занимался бы только нашими семейными ссорами. Видите ли, моя семья очень древняя. И очень знатная.

– Правда? Моя только притворяется таковой.

– Кто ваш отец?

– Судья. – Честность заставила его добавить: – Боюсь, я не оправдал его надежд.

– Можете не рассказывать. Никогда мне не понять, что движет представителями среднего класса. Присядьте, я хочу узнать о вас побольше. Где вы учились?

– В лицее Людовика Великого. А вы думали, меня вырастил сельский кюре?

Мирабо отставил чашку:

– Там учился де Сад.

– Это не самый характерный пример.

– Однажды мне не повезло оказаться с ним в тюрьме. Я сказал ему: «Мсье, я вам не компаньон, вы режете женщин на кусочки». Простите, я отвлекся.

Граф упал в кресло, невоспитанный аристократ, ни разу в жизни не просивший прощения. Камиль смотрел на него, чудовищно самоуверенного и тщеславного человека с претензией на величие. Граф не просто говорил и двигался – он рычал и крался. Пребывая в покое, он напоминал пыльное чучело льва в зоологическом музее: мертв, но не настолько мертв, как вам хотелось бы.

– Продолжайте, – сказал граф.

– Зачем?

– Зачем мне это? Думаете, я позволю стае шакалов, которые служат герцогу, подмять под себя ваши маленькие таланты? Я готов дать вам хороший совет. Герцог дал вам хороший совет?

– Нет. Я никогда с ним не беседовал.

– Как жалобно это прозвучало. Разумеется, не беседовали. Но я не такой. Я приближаю к себе способных людей. Я зову их своими рабами. И желаю, чтобы мои рабы были счастливы на плантации. Вам, конечно, известно, кто я такой?

Камиль вспомнил, как Аннетта называла Мирабо несостоятельным должником и аморальным человеком. Мысли об Аннетте казались особенно неуместными в этой комнатке, набитой громоздкой мебелью, старыми портьерами и тикающими часами, посреди которой сидел граф и скреб щеку. Эта комнатка воплощала собой роскошь. Почему мы называем роскошной жизнью мотовство, обжорство и лень? Несмотря на долги, граф не собирался отказываться от дорогих безделушек, среди которых, кажется, теперь числился и он сам. Что до аморальности, то Мирабо явно ею гордился. Коллекция его звериных желаний свернулась в углу, предвкушая завтрак и издавая вонь на конце цепи.

– Что ж, у вас было время подумать.

Внезапно граф вскочил, волоча за собой складки ткани. Обняв Камиля за плечи, он подвел его к залитому солнечным светом окну. Казалось, неожиданное тепло исходит не от окна, а от графа. Еще от него разлило вином.

– Должен признаться, – сказал Мирабо, – я люблю приближать людей, которым есть чего стыдиться. С ними мне проще. С такими, как вы, Камиль, с вашей чувствительностью и нервностью, которыми вы торгуете в Пале-Рояле, словно отравленными букетами... – Граф коснулся его волос. – И эта слабая, но различимая тень андрогинности...

– Вам нравится разбирать людей по косточкам?

– Мне нравитесь вы, – сухо сказал граф, – потому что вы ничего не отрицаете. – Он отошел от окна. – Тот рукописный текст под названием «Свободная Франция», что ходит по рукам, написали вы?

– Я. Вы же не думаете, что безобидная брошюрка, которая есть у вас, – все, на что я способен?

– Нет, мэтр Демулен, я так не думаю и вижу, что и у вас есть рабы и переписчики. Вы можете одним словом описать свои убеждения?

– Республиканец.

Мирабо чертыхнулся.

– Для меня символ веры монархия, – сказал он. – Я нуждаюсь в ней, только посредством ее я могу заявить о себе. И много среди ваших тайных знакомцев тех, кто думает так же, как вы?

– Не более полудюжины. Едва ли вы обнаружите больше во всей стране.

– Почему?

– Мне кажется, люди не в состоянии выносить слишком много правды. Они надеются, король подзовет их свистом из канавы, где они прозябают, и назначит министрами. Но весь этот мир скоро будет разрушен.

Мирабо крикнул слуге:

– Тейтш, приготовь мне одежду. Что-нибудь поярче.

– Черное, – сказал слуга, входя в комнату. – Вы теперь депутат.

– Черт, я и забыл. – Граф кивнул в сторону передней. – Кажется, у них заканчивается терпение. Что ж, впускайте всех сразу, это даже забавно. А вот и женевское правительство в изгнании. Доброе утро, мсье Дюровере, мсье Дюмон, мсье Клавьер. Это рабы, – прошептал он Камилю драматическим шепотом. – Клавьер хочет стать министром финансов. Ему все равно, в какой стране. Странное желание, очень странное.

В комнату влетел Бриссо.

– Меня запретили, – выпалил он, и вид у него был подавленный.

– Как печально, – промолвил Мирабо.

Они начали заполнять комнату, женеvцы в бледных шелках и депутаты в черном с папками под мышкой; Бриссо был в потертом коричневом сюртуке, а его жидкие ненапудренные волосы были подстрижены на античный манер.

– Петион, вы теперь депутат? Поздравляю, – сказал Мирабо. – От Шартра? Отлично. Спасибо, что заглянули меня проведать.

Граф отвернулся; он беседовал с тремя собеседниками одновременно. Вы либо удерживали его внимание, либо нет. У депутата Петиона не вышло. Это был мясистый добродушный красавец, похожий на подростка щенка. Он с улыбкой оглядывал комнату, пока его ленивые голубые глаза не уперлись в Камиля.

– А, пресловутый Камиль.

Камиль подскочил. Он предпочел бы без такого титула. Но это было лишь начало.

– Я услышал ваше имя в парижском кафе, – объяснил Петион. – Депутат де Робеспьер описал мне вас так точно, что я сразу же вас узнал.

– Вы знакомы с де Робеспьером?

– Достаточно близко.

Сомневаюсь, подумал Камиль.

– Это было лестное описание?

– О, он о вас очень высокого мнения, – просиял Петион. – Как и все остальные. – Он рассмеялся. – Не смотрите на меня так скептически.

Голос Мирабо гремел в комнате.

– Бриссо, как там в Пале-Рояле? – Графу не требовался ответ. – Полагаю, как обычно замышляют грязные интриги. Все, за исключением доброго герцога Филиппа, который для этого слишком туп. Манда, манда, манда – это все, о чем он думает.

– Прошу вас, – сказал Дюровере. – Мой дорогой граф, пожалуйста.

– Тысяча извинений, – сказал Мирабо. – Я забыл, что вы из города Кальвина. Впрочем, это же правда. У Тейтша и то больше понятия о государственном управлении, чем у герцога. Гораздо больше.

Бриссо переминался с ноги на ногу.

– Тише, – прошипел он. – Здесь Лакло.

– Клянусь, я вас не заметил, – поприветствовал граф герцогского секретаря. – Что нового? – шелковым голосом спросил он. – Как продается ваша грязная книжонка?

– Что вы здесь делаете? – вполголоса спросил Камиля Бриссо. – Когда это вы успели с ним подружиться?

– Понятия не имею.

– Господа, минуту внимания. – Мирабо вытолкнул Камиля перед собой и положил крупные, украшенные перстнями руки на его плечи. Теперь это был другой зверь: яростный медведь, вылезавший из берлоги. – Позвольте представить вам мсье Демулена.

Депутат Петион любезно ему улыбнулся. Лакло поймал его взгляд и отвел глаза.

– А теперь, господа, если вы дадите мне минутку, чтобы переодеться... Тейтш, придержите гостям дверь... я тотчас к вам вернусь.

Они вышли.

– А вы останьтесь, – велел он Камилю.

Внезапно стало тихо. Граф провел рукой по лицу.

– Какой фарс, – промолвил Мирабо.

– Это выглядит пустой тратой времени. Но я не знаю, как заведено.

– Вы ничего не знаете, дорогой мой, однако у вас на все есть свое маленькое твердое мнение. – Граф ходил по комнате, раскинув руки. – Взлет и... снова взлет графа де Мирабо. Они должны видеть меня, должны видеть людоеда. Лакло пришел поводить своим острым носом. И Бриссо. Этот человек меня раздражает. Он не бежит по комнате, как бежите вы,

зато без конца дергается. Кстати, вы берете деньги герцога Орлеанского? Хорошо. Приходится выживать и, если получится, за чужой счет. Тейтш, можешь побрить меня, только не суй пену в рот, я хочу поговорить.

– Не первый раз, – отозвался слуга.

Хозяин наклонился и ткнул его между ребер. Тейтш расплескал немного горячей воды, однако ничуть не смутился.

– Я пользуюсь успехом у патриотов, – сказал Мирабо. – Патриоты! Вы заметили, что мы не способны написать абзац, не вставив этого слова? Ваш памфлет выйдет через месяц-другой.

Камиль сидел и хмуро смотрел на графа. Он ощущал спокойствие, словно дрейфовал в тихих водах.

– Издатели – порода малодушная, – сказал граф. – Заправляй я в аду, я придумал бы для них отдельный круг, где они медленно поджаривались бы на раскаленных печатных станках.

Камиль быстро взглянул на Мирабо. В меняющемся лице графа он угадывал некоторые признаки, что не он один – верный выигрыш дьявола.

– Вы женаты? – неожиданно спросил граф.

– Нет, но можно сказать, что помолвлен.

– У нее есть деньги?

– И немало.

– Вы нравитесь мне все больше. – Граф движением руки отослал Тейтша. – Думаю, вам лучше переехать ко мне, по крайней мере, пока вы в Версале. Не уверен, что свобода вам показана.

Граф затеребил его галстук. Настроение изменилось.

– Должно быть, Камиль, – мягко промолвил он, – вы спрашиваете себя, как здесь очутились, но я порой задаю себе тот же вопрос... сидеть сиднем в Версале, каждый день ожидая вызова из дворца, и все из-за моих сочинений, речей, поддержки, которой я пользуюсь... чтобы в кои-то веки занять приличествующее место в стране... ведь король должен позвать меня, правда? Когда старые способы будут исчерпаны?

– Думаю, да. Но вы должны показать ему, каким опасным соперником можете стать.

– Да... и тогда начнется совсем другая игра. Вы когда-нибудь пытались покончить с собой?

– Время от времени эта мысль приходит мне в голову.

– Всё шутите, – резко промолвил граф. – Надеюсь, вы сохраните беспечность, когда вас будут судить за государственную измену. – Он снова понизил голос. – Мне казалось, это выход. Видите ли, люди уверяют, что не испытывают сожалений, бахвалятся этим, но я, я их испытываю – долги, которые делал и продолжаю делать, женщины, которыми воспользовался и бросил, моя собственная нетерпеливая природа, которую я никогда не умел и так и не научился обуздывать, – да, думал я, смерть станет передышкой, даст мне время отдохнуть от себя. Но я был глупцом – я должен жить для того, чтобы... – Он запнулся. Чтобы страдать, осознать свои ошибки, пережить унижения, наветы, быть втоптаным в грязь...

– Чтобы?..

Мирабо усмехнулся.

– Чтобы устроить им ад, – закончил он.

Его называли залом Малых забав и до сих пор использовали для хранения театральных декораций. Эти два факта требуют комментария.

Когда король решил, что зал подходит для заседаний Генеральных штатов, он позвал плотников и маляров. Они задрапировали помещение бархатом и кистями, соорудили несколько фальшивых колонн и добавили немного позолоты. В меру роскошно и дешево.

Справа и слева от трона располагались кресла для первого и второго сословий, третьему предлагалось тесниться на деревянных скамьях в конце зала.

Все пошло не так с самого начала. После торжественного появления король обвел зал глупой улыбкой и снял шляпу. Затем сел и снова надел ее. Шелка и бархат взметнулись и с шуршанием опали в кресла. Триста плюмажей поднялись в воздух и опустились на триста благородных голов. Однако согласно этикету в присутствии монарха простолюдины должны стоять с непокрытой головой.

Спустя мгновение какой-то краснолицый субъект натянул свою скромную шляпу на лоб и сел, стараясь издавать как можно больше шума. Третье сословие, как один человек, опустилось на сиденья. Графу Мирабо пришлось жаться на скамье вместе с остальными.

С невозмутимым видом его величество встал. Неразумно, подумал он, заставляя бедняг стоять весь день, учитывая, что они уже прождали три часа, прежде чем их впустили в зал. Правда, они сами этого хотели, но он не в обиде. Король начал говорить. Люди в задних рядах тянули шею. Что? Что он сказал?

Неожиданно стало понятно – этот зал предназначен для великанов с луженой глоткой. Будучи таким великаном, Мирабо улыбался.

Король говорил мало, действительно мало. О долгом бремени американской войны. О том, что система налогообложения требует реформ. Каких именно, он не уточнил. За ним поднялся министр юстиции и хранитель печатей мсье Барантен. Он предупредил о недопустимости поспешных решений и опасности нововведений, предложил сословиям собраться на следующий день отдельно, избрать старших и определиться с регламентом. Барантен сел.

Депутаты от третьего сословия желают, чтобы Генеральные штаты собирались вместе, а голоса считали индивидуально, по головам. Иначе духовенство и дворяне объединятся против них. Численное преимущество – шестьсот депутатов от третьего сословия против трехсот от духовенства и трехсот от дворянства – обратится в ничто. Они могут хоть сейчас отправляться по домам.

Но прежде они должны услышать речь Неккера. Контролер финансов встал, зал загудел. Максимилиан де Робеспьер произвольно подался вперед. Неккера было слышно лучше, чем Барантена. Цифры, цифры, сплошные цифры.

Спустя десять минут глаза Максимилиана де Робеспьера обратились туда, куда смотрели все мужчины в зале. Придворные дамы сгрудились на скамьях, словно горшки на полке, застыв внутри невозможных платьев, корсетов и шлейфов. Они сидели с прямой спиной, а устав, опирались на колени дам, сидевших сзади. Спустя десять минут, когда колени за спиной начинали ерзать, дамы снова распрямлялись. Вскоре они станут горбиться, зевать, шуршать юбками, молчаливо стонать и молиться про себя, чтобы эта попытка поскорее закончилась. Как же им хотелось наклониться вперед и уронить на колени гудящую голову! Гордость заставляла их держать осанку – более или менее. Бедняжки, думал он. Бедные малышки. Их позвоночник сейчас переломится.

Так прошел первый час. Вероятно, Неккер успел порепетировать – его голос уверенно разносился по залу. Какая жалость, что в словах не было ни капли смысла. Призыв к действию, вот что нам нужно, думал Макс, несколько воодушевляющих фраз. Назовите это вдохновением. Тем временем Неккер, похоже, выдохся. Его голос ослабел. Очевидно, это предвидели. У Неккера был заместитель, которому он и передал бумаги. Заместитель встал и продолжил. Его голос скрипел, как разводной мост.

Теперь Макс разглядывал одну женщину – королеву. Когда говорил ее муж, она еще пыталась сосредоточенно хмуриться. Когда встал Барантен, опустила глаза. Сейчас королева, не таясь, разглядывала скамьи с депутатами третьего сословия. Она будет смотреть на них, смотрящих на нее. Опустит глаза, пошевелит пальцами, чтобы бриллианты поймали свет. Поднимет голову, и лицо с жесткой нижней челюстью будет поворачиваться из стороны в сторону.

Казалось, королева кого-то искала. Но кого? Лицо над черной одеждой... Врага? Друга? Веер, подобно птице, трепетал в ее руках.

Спустя три часа депутаты с распухшими головами высыпали на солнце. Большая группа обступила Мирабо, который ради просвещения коллег подверг критическому рассмотрению речь мсье Неккера.

– Такой речи, господа, мы вправе ожидать от банковского служащего скромных достоинств... Что до дефицита, то он наш лучший друг. Если бы король не нуждался в деньгах, нас бы здесь не было.

– Если мы не будем голосовать каждый за себя, нам тут делать нечего, – заметил какой-то депутат.

Мирабо хлопнул его по плечу, так что тот пошатнулся.

Макс отошел подальше. Ему не хотелось рисковать, случайно подставив Мирабо спину, этот человек любит распускать руки. Внезапно кто-то тронул его плечо, всего лишь тронул. Он обернулся. Один из бретонских депутатов.

– Тактическое совещание в восемь вечера в моих апартаментах. Придете?

Макс кивнул. Стратегия – искусство навязать врагу время, место и условия поединка, думал он.

К нему подскочил депутат Петион.

– Куда вы подевались, де Робеспьер? Смотрите, я привел вашего друга!

Депутат смело нырнул в толпу вокруг Мирабо и вынырнул с Камилем Демуленом. Петион был сентиментален; радуясь, что свел старых друзей, он отошел и со стороны наблюдал за их воссоединением. Мирабо оборвал оживленный диалог с Барнавом. Камиль протянул де Робеспьеру руку. Ладонь Максимилиана была холодна, суха и тверда. У Камиля замерло сердце. Он оглянулся на удаляющегося Мирабо и на мгновение увидел графа в ином свете: крикливый вельможа в дешевой мелодраме. Ему захотелось уйти со спектакля, не дожидаясь конца пьесы.

Шестого мая духовенство и дворяне заседали в выделенных им покоях. Депутатов третьего сословия мог вместить только зал Малых забав. Им позволили собраться там.

– Король совершил ошибку, – сказал де Робеспьер. – Оставил за нами поле битвы.

Он сам себе удивился: обрывочные беседы с военным инженером Лазаром Карно не прошли даром. Вскоре ему предстояло нелегкое испытание – обратиться к почтенному собранию. Отсюда до Арраса было очень далеко.

Разумеется, третье сословие ничего делать не может – это значило бы признать свой статус отдельного собрания. На такое они не пойдут. Они хотят, чтобы депутаты от двух других сословий вернулись и присоединились к ним. Дворяне и духовенство отказываются. Тупик.

– Что бы я ни сказал дальше, записывайте.

Женевские рабы сидели вокруг, подпирая коленями книги, на которых лежали клочки бумаги. Сочинения графа покрывали все поверхности, которые можно было использовать в качестве письменного стола. Время от времени испытанные ветераны революционной борьбы обменивались понимающими взглядами. Граф ходил по комнате, размахивая стопкой бумаг. На нем был пурпурный шлафрок, кольца на крупных волосатых руках ловили свет канделябров и вспыхивали в духоте комнаты. Был час ночи, когда вошел Тейтш.

*Тейтш.* Мсье...

*Мирабо.* Вон.

*(Тейтш закрывает за собой дверь.)*

*Мирабо.* Итак, дворяне не желают к нам присоединиться. Они проголосовали против нашего предложения с преимуществом в сто голосов. Духовенство тоже против, но у них сто тридцать три голоса против ста четырнадцати, не так ли?

*Женевицы.* Так.

*Мирабо.* То есть голоса разделились почти пополам. Это кое-что проясняет.

*(Он начинает ходить по комнате. Женевицы скрипят перьями. На часах 2:15. Входит Тейтши.)*

*Тейтши.* Мсье, там человек с труднопроизносимым именем, который дожидается вас с одиннадцати вечера.

*Мирабо.* Что значит «труднопроизносимым»?

*Тейтши.* Я не могу его произнести.

*Мирабо.* Хорошо, вели ему написать имя на листке бумаги и принеси сюда, ты понял, дурень?

*(Тейтши выходит.)*

*Мирабо (отклоняясь от темы).* Неккер. Бога ради, кто такой ваш Неккер? Чем он заслужил свой пост? Что делает его *таким привлекательным*? Я скажу вам что – у него нет ни долгов, ни любовниц. Возможно, это то, чего жаждет нынешняя публика – швейцарского скрягу без яиц? Нет, Дюмон, этого можете не писать.

*Дюмон.* Можно подумать, вы завидуете Неккеру. Его посту министра.

*(2:45. Входит Тейтши с клочком бумаги. Мирабо на ходу забирает его и сует в карман.)*

*Мирабо.* Забудьте вы о Неккере. Кому он нужен, ваш Неккер. Вернемся к теме. Выходит, надеяться мы можем только на духовенство. Если мы убедим их к нам присоединиться...

*(В три пятнадцать он вытаскивает из кармана клочок бумаги.)*

*Мирабо.* Де Робеспьер. Да, вот так имечко. Теперь все зависит от этих девятнадцати священников. Мне придется произнести речь, в которой я не просто предложу им присоединиться, а попробую их вдохновить – это будет великая речь. Которая напомнит священникам об их долге и интересах.

*Дюровере.* Речь, которая, помимо прочего, прославит в веках имя Мирабо.

*Мирабо.* Вот именно.

*(Входит Тейтши.)*

*Мирабо.* Боже правый, сколько можно? Ты хлопаешь дверью каждые две минуты. Мсье де Робеспьер еще здесь?

*Тейтши.* Да, мсье.

*Мирабо.* Вот это терпение. Хотел бы я быть таким терпеливым. Что ж, из христианского милосердия предложи славному депутату чашку шоколада, Тейтш, и скажи, что я скоро освобожусь.

*(4:30 утра. Мирабо говорит. Время от времени он останавливается перед зеркалом, репетируя эффектный жест. Мсье Дюмон заснул.)*

*Мирабо.* Мсье ле Робинпер еще здесь?

*(5:00. Львиное чело разглаживается.)*

*Мирабо.* Благодарю вас, благодарю вас всех! Сумею ли я когда-нибудь достойно вас отблагодарить? Сочетание вашей эрудиции, мой дорогой Дюровере, с вашим храпом, мой дорогой Дюмон, ценнейшим из ваших талантов, вместе с моим непревзойденным ораторским гением...

*(Тейтши заглядывает в дверь.)*

*Тейтши.* Вы закончили? Он еще тут.

*Мирабо.* Наш великий труд завершен. Зови его, зови.

*(За спиной депутата из Арраса, когда тот входит в душную комнатку, брезжит заря. От табачного дыма у него щиплет глаза. Депутат расстроен: стюрик помялся, перчатки утратили свежесть – теперь ему придется вернуться домой, чтобы переодеться. Мирабо, чья одежда пребывает в еще большем беспорядке, изучает его: молодой, худосочный, усталый. Де Робеспьер с усилием улыбается, протягивает маленькую ладонь с обгрызенными ногтями. Не глядя на нее, Мирабо изящным движением кладет руку ему на плечо.)*

*Мирабо.* Мой дорогой Робиспер, присядьте. Есть куда?

*Де Робеспьер.* Не беспокойтесь, я просидел достаточно долго.

*Мирабо.* Прошу простить меня. Дела...

*Де Робеспьер.* Не извиняйтесь.

*Мирабо.* Я хочу быть доступен любому депутату, который захочет со мной встретиться.

*Де Робеспьер.* Я не задержу вас надолго.

*(Перестань извиняться, говорит себе Мирабо. Ему все равно, он сам сказал, что ему все равно.)*

*Мирабо.* Что привело вас ко мне, мсье де Робертспьер?

*(Депутат вынимает из кармана несколько сложенных листков, протягивает их*

*Мирабо.)*

*Де Робеспьер.* Это речь, которую я собираюсь произнести завтра. Вы не могли бы взглянуть и сказать, что вы думаете? Она довольно длинная, а вы, вероятно, собирались ложиться...

*Мирабо.* Конечно, я взгляну, никаких затруднений. О чем ваша речь, мсье де Робеспьер?

*Де Робеспьер.* Моя речь призывает духовенство присоединиться к третьему сословию.

*(Мирабо отворачивается, сжимает бумаги в кулаке. Дюровере обхватывает голову руками и тихо стонет. Но когда граф оборачивается к де Робеспьеру, его лицо невозмутимо, а голос шелковый.)*

*Мирабо.* Мсье де Робинпер, должен вас поздравить. Вы выбрали самую животрепещущую тему. Мы непременно добьемся успеха в нашем начинании, не правда ли?

*Де Робеспьер.* Определенно.

*Мирабо.* А вам не приходило в голову, что ваши коллеги могли избрать для выступления ту же тему?

*Де Робеспьер.* Странно, если бы не приходило. Именно поэтому я пришел к вам, рассудив, что вам известны все наши планы. Не хочется повторяться.

*Мирабо.* Возможно, вас утешит, что я сам набросал небольшую речь. *(Мирабо говорит и читает одновременно.)* Не кажется ли вам, что мы быстрее достигнем цели, если вопрос будет поднят тем, кто хорошо известен депутатам и обладает ораторским опытом? Возможно, духовенство отнесется с меньшим доверием к тому, кто... как бы сказать... еще не успел продемонстрировать свои выдающиеся таланты.

*Де Робеспьер.* Продемонстрировать? Мы не фокусники, мсье. Мы здесь не для того, чтобы вытаскивать из шляпы кроликов.

*Мирабо.* На вашем месте я не был бы так в этом уверен.

*Де Робеспьер.* Если мы предполагаем, что некто обладает выдающимися талантами, разве сейчас не лучшее время их проявить?

*Мирабо.* Я понимаю вас, но думаю, что ради общего блага вам следует отступить. Я должен быть уверен, что ничто не отвлечет слушателей от моей речи. Иногда бывает полезно соединить известное имя с...

*(Мирабо резко замолкает. Он замечает на тонком угловатом лице гостя оттенок презрения, хотя голос все так же почтителен.)*

*Де Робеспьер.* Моя речь хорошо написана, этого вполне довольно.

*Мирабо.* Да, но оратор... скажу вам честно, мсье де Робертспьер, я провел ночь, работая над речью, и утром собираюсь выступить. Вынужден по-дружески просить вас найти иное время для вашего дебюта или ограничиться несколькими словами в мою поддержку.

*Де Робеспьер.* Я не готов на это пойти.

*Мирабо.* Не готовы? *(Граф с удовольствием отмечает, как вздрагивает депутат, когда он повышает голос.)* Мне принадлежит решающее слово на наших заседаниях, а вас не знает никто. Депутаты не перестанут шушукаться, чтобы выслушать вас. Ваша речь многословна, напыщенна, да вас просто освищут.

*Де Робеспьер.* Не пытайтесь меня запугать. *(Это не похвальба. Мирабо изучающе разглядывает депутата. На свете мало людей, которых он не способен запугать.)* Послушайте, я не заставляю вас отказаться от вашей речи. Если считаете нужным, прочтете свою, а я свою.

*Мирабо.* Но, черт вас побери, они об одном и том же!

*Де Робеспьер.* Да, но поскольку вы известный демагог, вас могут не послушать.

*Мирабо.* Демагог?

*Де Робеспьер.* Политикан.

*Мирабо.* А вы тогда кто?

*Де Робеспьер.* Я простой человек.

*(Лицо графа становится пуццовым, он запускает ладонь в волосы, так что они встают дыбом.)*

*Мирабо.* Вы станете посмешищем.

*Де Робеспьер.* Это мое дело.

*Мирабо.* Полагаю, вам не привыкать.

*(Он отворачивается. В зеркале оживает Дюровере.)*

*Дюровере.* Могу я предложить компромисс?

*Де Робеспьер.* Нет. Я уже предложил ему компромисс – он отказался.

*(Наступает молчание. В молчании граф тяжело вздыхает. Возьми себя в руки, Мирабо. Сейчас же. Помиришь с ним.)*

*Мирабо.* Мсье де Робинспер, полагаю, мы друг друга не поняли. Нам не стоило ссориться.

*(Де Робеспьер снимает очки и трет большим и указательным пальцами уголки воспаленных глаз. Мирабо замечает, что его левое веко нервно дергается. Победа, думает он.)*

*Де Робеспьер.* Я должен идти. Вам стоит поспать пару часов.

*(Мирабо улыбается. Де Робеспьер смотрит на ковер, где валяются смятые и разорванные листы его речи.)*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.